

Борис ХАЗАНОВ

ВЧЕРАШНЯЯ ВЕЧНОСТЬ

Фрагменты XX столетия

роман (продолжение)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XVII Жизнь – государственная тайна

Без даты

1

Если бы существовала астрономия событий, мы увидели бы, как туманное солнце Победы встало на востоке и, останавливаясь, исчезая в тучах и вновь поднимаясь, постепенно светлея и наливаясь золотом, ползло все выше, пока, наконец, не достигло зенита: это было утро 9 мая 1945 года. Толпы бежали к Красной площади, плакали и смеялись, и обнимались, и было видно за морем голов, как взлетают над головами солдаты войны с побрякивающими медалями на гимнастерках, и в небе плыл и полыхал стяг со знакомым портретом.

Жизнь, новая жизнь начиналась при звуках победных труб, жизнь казалась обетованной землей, наконец-то обретенной, и, однако, осталась прежней, – по крайней мере, так казалось, и уже далёким эхом звучал в ушах топот парадных сапог, заглохла маршеобразная музыка, жизнь мчалась, а вместе с тем стояла на месте, как стоит вагон под стук колёс, а навстречу летят поля и деревни; жизнь была предопределена, для неё, словно в чёрную дыру туннеля, были проложены рельсы во мрак будущего, и она неслась по ним, увозя ни о чём не подозревавшего пассажира на тот свет. То, что древние называли фатумом, а люди менее просвещённого времени – Божьей волей, теперь именовалось государственной тайной. Станок ткал серо-чёрную ткань под названием «диагональ». Рулоны этой ткани прибыли на тайный северный полустанок, где бригада простуженных подростков разгрузила их прямо на снег, а ты, приятель, где ты был в это время? Ни о чём не подозревал, ничего не знал о государстве тайн и заграждений и, сидя на корточках где-нибудь в Парке культуры, затягивал шнурки ботинок с коньками разругавшейся барышне в белой вязаной шапочке с помпоном, и гремела музыка, и флаги трепыхались на мачтах, и сияли фонари, лёд блестел, и падал снег.

Между тем угрюмые тощие женщины, все в такт, кивая серыми стриженными головами, стучали ногами по приводу, стрекотали швейными машинами под тускло-слепящим светом лампочек без абажуров, и глядите-ка, твой бушлат готов, новенький, и топорщится, перетянутый верёвкой в кипах готовой продукции, по десять штук в связке. Сгорбленная старуха с самокруткой во рту, дочь действитель-

ного статского советника и правнучка декабриста, пересчитала кипы и расписалась в бумажке. Пятьдесят лет тому назад она подрывала устои государственного строя, в короткой шубке стояла на стрёме, пока два гимназиста лепили клейстером прокламацию прямо на дверях губернского дворянского собрания; потом отправилась за границу изучать революционную теорию, и сорок лет жизни ушли на собрания, речи, платформы, членские взносы, выборы комитетов, разоблачение уклонов, борьбу фракций, резолюции, дым дешёвых папирос и дебаты до пузырей пены в углах рта; в те годы она коротко стриглась, ходила крупными шагами в холщовой юбке, а теперь носила бушлат, крутила и слюнила четвертушки газетной бумаги с махрой и пересчитывала новенькие бушлаты. Жизнь была predetermined, жизнь неслась вперёд и стояла на месте, огороженная колючей проволокой, окружённая со всех сторон, словно минными полями, государственной тайной.

2

Итак, бушлат был готов, ждал тебя, оставалось дооформить дело. Стёганный ватный бушлат в гардеробе отечественной истории – то же, что тога в Древнем Риме, рыцарский плащ и монашеская ряса Средневековья или камзол века Светочей. Имя изобретателя бушлата неизвестно, фасон и выкройки – компетенция ведомства охраны государственных тайн, подобно инструкциям тайной полиции, местонахождению оборонных заводов, паспортному режиму, сведениям о сексуальной жизни вождей. И то, что всё это – государственная тайна, есть в свою очередь тайна.

В толковых словарях говорится, что бушлат – это форменная одежда моряков, не верьте, первейшая обязанность лексикографа – хранить тайну. Словари лгут, как лгут календари и парадные сводки перевыполнения планов, где производство бушлатов не удостоено отдельной графы. Но на самом деле бушлат, бушлатик, есть одеяние эпохи, национальный наряд, форменное рубище, носимое зимой и летом. Бушлат не покупают, его выдают – взамен рубахи, куртки, пальто или шубы; бывшему дирижёру он заменяет фрак, бывшему моряку – морской бушлат, бывшему монарху – мантию. Бушлат служит подушкой и одеялом. Бушлат фигурирует в лагерных преданиях, порождает целый лексический слой. Идиоматическое выражение «одеться деревянным бушлатом» означает врезать дуба, сыграть в ящик, освободиться с биркой на левой ноге, откинуть лапти, отбросить копыта, приказать долго жить, загнуться, околеть, подохнуть, почить в Бозе: умереть.

3

Государственная тайна есть феномен, целесообразность которого не то чтобы иллюзорна, о нет, но как бы растворяется в том, что на первый взгляд порождено определённой целью и назначением: в мертвенном сиянии газосветных ламп, в лабиринте коридоров и дверей, в неслышном шаге сапог по ковровым дорожкам, в контрольных постах на площадках этажей, в бессонных караулах у глухих ворот и гранитных подъездов, побелевших от инея, в уходящих ввысь рядах тёмных, слепо отсвечивающих окон цитадели, похожей на колумбарий. На первый взгляд то, что там происходит, есть средство для достижения некоторой цели. На самом деле в них, в этих средствах, и состоит цель, смысл и задача.

Там ткут, прядут, как Парки, нить судьбы, там трудятся ночь за ночью напролёт, там дрожит в спёртом воздухе беззвучная музыка бдения, там сидят в обшитых дубом кабинетах неподвижные, как буддийские изваяния, начальства, там скрипят перьями в кабинетах с зарешечёнными окнами младшие и старшие следователи

в накинутах на плечи шинелях, с простыми, как пемза, лицами выходцев из народа, с окурком в углу рта; там вырабатывается особый бесплотный материал – субстанция государственной тайны, подобно тому как паук фабрикует бесцветную паутину, как ткётся ткань на бумажно-прядильном комбинате, и существуют нормы, и есть техосмотр, и есть передовики, перевыполняющие производственный план.

И как в еврейском предании невидимая рука раз в год записывает в Книгу судеб, кому жить, кому умереть, так и здесь, пока ты копошишься в своей маленькой жизни, некто невидимый решает твою судьбу в тайных канцеляриях. Множатся донесения, подшиваются новые материалы, дело пухнет и переходит из одного кабинета в другой, обрастает визами и резолюциями, уснащается постановлениями, последний удар штемпеля – папка захлопывается. Ночные автомобили просыпаются в подземном гараже. Вспыхивают фары. Раздвигаются ворота. Машины развозят только что вышедшую из ткацкого станка тайну по адресам.

Знал ли ты, знали ли все вы о том, что в недрах огромного здания, в сердце тайны спрятана сердцевина, что в подвалах раздевают догола, стригут машинкой под ноль, затем холодный душ, и хорошо, если только это; что в гробовой тишине по длинным переходам ведут арестанта, чмокая, пощёлкивая языком, постукивая ключом по пряжке, чтобы не встретиться с другим конвоиром, что на крышах за высокими стенами помещаются прогулочные дворы и стоят сторожевые вышки, – и всё это в центре огромного города? Нет, разумеется. Не знал, и никто не знает.

Тайна, как туман, окутывает город.

XVIII Свидание

28 октября 1948

Это произошло... Неплохой зачин для рассказа, в котором невероятность событий узаконена поэтикой приключенческой литературы, но, к несчастью, такая литература – не наш удел. Это произошло в прекрасном старом доме Дементия Жилярди на Моховой, в левом крыле, если стать спиной к Манежу, Александровскому саду и звёздно-зубчатой крепости. И была тихая, блёклая, солнечная, задумчивая погода, какая стоит только в октябре и только в нашем городе.

Этот дом стал легендой, мифом. Рассказывают, что он стоит по сей день; малоправдоподобное утверждение. Никогда больше мы не входили в воротца ограды, не поднимались на площадку третьего этажа, туда, где справа окно и низкий подоконник, а посредине вход на факультет, никогда не заглядывали в угловую, называемую Круглой, аудиторию. Пожилая женщина в кацавейке и тёплом не по сезону платке, отчего она казалась ещё старей, в тёмной юбке, на ногах довоенные фетровые боты, в руках кошёлка, все в этом столетии ходили с кошёлками, – стояла, ожидая конца последней лекции. Студенты гурьбой покидали зал. Она приблизилась, ей нужен был репетитор для внука.

Несколько времени оба топтались в коридоре, шум и толкотня мешали разговору. Но именно так, на публике, следовало произнести первые фразы, мне вас рекомендовали, что-то в этом роде. Может быть, отойдем в сторонку?

В шестом классе, продолжала она, входя в аудиторию. По математике лучше всех, а вот с русским языком беда. Не хотелось нанимать взрослого преподавателя, хорошо, если бы репетитор был товарищем для мальчика.

Что-то недоброе почудилось ему в этой тётеньке, но, может быть, память исказила первое впечатление. Тусклый взгляд, бесцветный голос; вдобавок, произнося отрывки фраз, она прикрывала рот, словно стеснялась недостающих зубов. В опустевшем зале – это была та самая, Круглая аудитория – подошли к подокон-

нику, она смотрела вниз, на пустынную площадь, наклонилась, чтобы увидеть угол улицы Герцена, откуда выворачивал трамвай. Она искала глазами людей, дежурящих на углу, нищего, который сидит перед оградой слева от ворот. Ничего подозрительного, люди спешат по тротуару, подчиняясь единому ритму, тяжёлому, учащённому дыханию города. Уже висел вдоль Манежа длинный плакат с изречением: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира...» – дальше не было видно, но все знали его наизусть. Всем было известно: мы – за мир! *Мы за мир, и песню эту понесём, друзья, по свету. Пусть она тра-та-та.* Сбоку над фронтоном, на крыше, рабочие тянули вверх на канатах огромный покачивающийся портрет в литых усах, в мундире с расшитым воротником и звездой Победы.

Она проговорила, всё ещё не глядя на тебя: «Дело вот в чём...» – и студент подумал, что она выставит какое-нибудь особое условие; она поправила платок на голове и коротко, пристально взглянула, видимо, сомневаясь, сможет ли он справиться с обязанностями репетитора.

«К сожалению, – сказала она, – мне надо спешить. И вам тоже».

«Мне?» – спросил он.

«Да. Только ни о чём меня не спрашивайте. Никакого внука у меня нет».

А кто же, задал он нелепый вопрос.

Она посмотрела ему в глаза.

«Обещаете, что никому ни слова? И, пожалуйста, никаких вопросов. Вы меня не знаете, я вас не знаю. Вы меня никогда не видели, ясно?.. Вам надо уехать».

Молодой человек воззрился на старуху. Уехать, куда?

«Из Москвы, срочно. Куда-нибудь... чем дальше, тем лучше. Это мой совет вам. Мы не можем долго разговаривать, – говорила она бесцветным, безразличным голосом, – я сейчас уйду, а вы немного побудьте здесь. Вас должны арестовать».

«Меня? Кто?» – спросил он растерянно.

Старуха мелко кивала головой в сером платке: да, да.

За что, спросил он.

На прошлой неделе ты поругался с кем-то в кино, в очереди перед кассами, вы были втроём, ты, она и Аглая, вмешалась милиция. Выходит, милиция?.. Летом на пляже к тебе подошла цыганка, открой десять карт, сказала она, какие будут красные, а какие черные. А что это значит? А то значит, сказала она, что красные к радости, чёрные – к горю, он открыл, все десять оказались красными.

Мы за мир, и песню эту. Понесём, друзья, по свету.

Всё это неслось в голове. Он снова спросил: «Но за что, вы мне можете сказать?»

«Это уж вам знать».

«Откуда вы взяли?»

«В какую-нибудь из ближайших ночей... я думаю, ближе к празднику, это делается ночью. Никому ничего не говорите, маме вашей скажите, чтобы вас не разыскивала, уезжайте, и всё. В глушь, где вас никто не знает».

Что-то ещё удерживало её.

«Главное, не задерживайтесь, уезжайте сегодня же. Лучше ночью, чтобы никто не видел. Это безумие, что я вас предупредила».

Студент остался в пустой аудитории, тупо размышлял о чём-то, выглянул из аудитории, спустился по лестнице, вышел на улицу и повернул направо, пересёк трамвайную линию, остановился. Он прочёл: «Мир будет сохранён и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца». Что означало изречение вождя? – очевидно, ничего, это была словесная конструкция, лишённая содержания. Но ему подумалось, что перед ним тайнопись, зашифрованное сообщение. Он двинулся назад, перешёл снова улицу Герцена.

Он шагал по тротуару, вдоль решетки университета, мимо ворот медицинского института, мимо американского посольства, мимо окон ресторана «Националь», шёл, не оглядываясь, вдруг поверив, уверенный, что за ним идут. Он ничего не знал *о них*, и всё-таки знал: его *накололи*, следят из подъездов, поджидают на углу улицы Горького, он замедлил шаг, нужно было резко изменить маршрут, нырнуть куда-нибудь, но нырнуть было некуда. Люди спешили вокруг, кто-то выругался, наткнувшись на него. Незачем гадать, почему, за что, они всё видят, всё знают, если придут за тобой, значит, есть за что. Никому не известно, что они замышляют, всё – тайна, и кто такие эти они, тоже тайна.

Какие выйдут красные, а какие черные. Вишь ты, одни красные. Или – недоразумение, подержат и отпустят? Но нет, сказал он себе, и как же это мы раньше не догадывались. Весь предпраздничный шум, друг мой, дурачина, и блеск витрин, и сверканье автомобилей, и толкотня на тротуарах, всё это – морок, обман, переливчатое покрывало индийской Майи, а под ним – ночь и туман. *Мы за мир, и песню эту...* И всю дорогу, непрестанно, дурацкая мелодия бубнила у него в мозгу.

XIX Героический эпос бдительности

Вечером 28 октября

Она сказала правду, не было никакого внука, но был сын. И когда, проделав кружной путь, – лишняя предосторожность не мешает – сперва в другую сторону, в густой толпе пешком к Арбату, потом на метро сколько-то остановок и опять пешочком до Покровских ворот, – когда она вошла в подъезд старого дома на углу Колпачного переулочка, поднялась по лестнице, открыла дверь коммунальной квартиры своим ключом и, неслышно прошагав по коридору, вступила в комнату, когда, наконец, размотала платок и повесила кацавейку, – при этом оказавшись, как мы и думали, не такой уж старой, – то первый вопрос не был произнесен, но был задан одним движением глаз: ну как?

Сын лежал на кровати, костыли стояли в углу. За окном – нежно-фиолетовое, фиштакшковое, как всегда в это лучшее время года, в этом лучшем из городов, небо, негаснущий, погожий день.

Мать сидела на стуле, боком к обеденному столу, руки на коленях. Виделась ли она с ним. Удалось ли его отыскать? Конечно, сказала она. Сразу узнала. – Так. И что же? – Ничего. – Сказала?

Молчание.

«Да, сказала».

«А он что?»

«Он ничего не понимал. Я боюсь, – проговорила она. – За тебя боюсь».

«Ерунда. Мне ничего не грозит. Ты ему что-нибудь рассказала?»

Словно страдая от невыносимого зуда, так похожего на зуд в пальцах несуществующей конечности, он выпытывал каждое слово: что, как, о чём говорили. Не волнуйся, Юра, сказала мать, никто нас не слышал. Я же говорю тебе: вызвали тебя, потому что ты член партбюро. Всех вызывали, возразил он угрюмо. Вызвали тебя, продолжала она, как коммуниста. Ну и, конечно, репрессированный отец.

Может быть, и других заставили подписать. Кто это может знать? Нет, конечно, ни о чём она не рассказывала. Никаких вопросов, я вас не знаю, вы меня не знаете. И что ваш однокурсник – мой сын, и что его *вызывали*. Удивительное слово тех лет: произнесёшь, и всё ясно, кто вызывал и куда. И зачем вызывали, тоже не надо объяснять. Обречённый ни о чём не подозревает. Его тело всё ещё живёт среди людей, двигается в толпе студентов, с шумом, смехом вывалившихся из

Круглой аудитории, только что окончилась лекция. (О французском классицизме, уточнил сын). Но уже накинута на него невидимая сеть, уже одной ногою он там, и вот-вот поедет по эскалатору в преисподнюю. Уже невозможно называть вслух его имя.

Пойми, Юра, сказала мать, повторяя то, о чём они проговорили полночи, решив, наконец, что она отправится в университет и предупредит, пойми, ты всего лишь свидетель. Так это у них называется. Ты думаешь, оттого, что ты что-то подтвердил, что-то подписал, его и заберут? Всё решено заранее. Они всё знают без тебя. И знают гораздо больше. Им нужен формальный свидетель – может быть, даже не один. Они всегда действуют по закону. Который сами же сочинили. И твои показания сочинили, и его собственные, на самого себя, это отработанный механизм. За ним следят уже давно, это я тебе гарантирую. Ждут, когда накопятся доносы. Настоящий виновник – это осведомитель, кто-нибудь в вашей группе. Его-то, конечно, вызывать не будут. От твоих показаний ничего не изменится. Этой сетью опутали всех. Уж я-то знаю. Господи, – мальчишка, я же видела, кто он такой: мальчишка.

«Я тебе так скажу, – продолжала она, – и больше не будем возвращаться к этому разговору. Чтобы как-нибудь устроить умственно отсталых людей, есть лечебные мастерские. Там слабоумные клеют картонные коробки. А чтобы дать работу садистам, создана эта организация, все эти управления, подвалы, тюрьмы».

«По-настоящему, – сказала она, – надо бы арестовать меня. Я их ненавижу. Я всех их ненавижу. Я ненавижу усатого ублюдка. Твой отец исчез в тридцать седьмом году, через десять месяцев мне ответили: десять лет без права переписки. Что это означает, это мы уже и тогда знали. А твой дед был народовольцем».

Всё так, думал инвалид. Он сидел на кровати, опустив ногу на пол, давно уже стемнело, шелковый абажур освещал стол и лицо матери, все остальное – стены, книги – было погружено в сумрак. Не я, так другой, и ничего бы не изменилось. Свидетели – чистая формальность, всё правильно. И всё-таки, всё-таки!..

А она думала: мало того, что мальчик прямо со школьной скамьи отправился на фронт. Мало того, что пришел с войны калекой. Сколько их вообще осталось – из всего их класса вернулось двое. Так нет же, надо мучить его ещё.

Они вызывают людей, чтобы связать всех единой поручкой. Накануне, вернувшись, он рассказал, как было: позвали в деканат. Там говорят – зайдите в секретариат, какие-то формальности. Он отправился в административное крыло. Дом Жилярди выходит на площадь покоем. Клятвенные братья Огарёв и Герцен, в кустах на своих постаментах, могли бы кое о чём напомнить. Университет, оплот русского свободомыслия... эх, эх. Он шёл, опираясь на палки, переставлял ноги. Нашёл ректорат, секретарша взглянула на него, он объяснил, что ему велели явиться. К кому? – спросила она и, не дожидаясь ответа, сняла трубку телефона. Там что-то ответили. Он заковылял дальше. Кум обитал в конце коридора за дверью без таблички. Он постучался, подождав, отворил, там была вторая дверь, он снова постучался. Уполномоченный сидел за столом, это был гладколицый, синеглазый, сдержанно-вежливый человек в штатском, разговор в кабинете за двойной дверью начался с уважительных комплиментов, в них сквозило даже некоторое участие. Юра знал, что такое особый отдел. Но сидевший напротив него не был похож на военных особистов, он говорил без южного акцента, правильным русским языком, не тыкал, говорил «вы». Себя называл «мы». Это была форма, называемая в грамматике *pluralis majestatis*, множественное величества. Присаживайтесь, – тут он назвал Юру по имени-отчеству, – вы, наверное, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Не догадываюсь, сказал Юра. Хотелось бы, м-м, побеседовать. Речь идёт о... Он назвал фамилию, мягко взглянул на посетителя. В нём было что-то подкупающее, он словно хотел сказать: вот видите, вы ожидали увидеть какого-нибудь дуба, мы совсем не таковы. Не буду от вас скрывать, продолжал он, у нас есть сведения, что...

Откуда это известно, холодно спросил Юра, и в ответ уполномоченный усмехнулся, кинул на свидетеля оценивающий взгляд, как бы прикидывая, что это: наивность, или притворяется? К вашему сведению, сказал он осторожно, органы осведомлены обо всём. – Зачем же тогда...? – Вы хотите сказать, возразил уполномоченный, зачем понадобились ваши показания. Но это ваш долг, долг советского гражданина, коммуниста. А если, спросил Юра, я откажусь. Уполномоченный потянулся за портсигаром, протянул свидетелю, Юра помотал головой. Уполномоченный закурил. Откажетесь помочь следствию? – спросил он. – Ваше дело, мы никого не принуждаем. Возможно, придётся сделать соответствующие выводы. Он смотрел на свидетеля ясным взором, в котором можно было уловить насмешку, впрочем, еле заметную. Кстати, хотел бы напомнить, что укрывательство врага – уголовно наказуемое деяние. Конечно, до этого дело не дойдёт, вы один из лучших студентов, по окончании партбюро будет рекомендовать вас в аспирантуру, мы поддержим ходатайство.

Какой же он враг, сказал Юра. Он всё ещё упирался. Кум не спорил. Да, пожалуй, правильней будет сказать – не враг, а заблуждался. Мы выясним. Может быть, ограничимся разъяснительной беседой. Вправим мозги. То, что здесь написано, установленный факт, сказал он холодно и взглянул на часы. Сейчас, думал Юра, напомнит об отце. Он видел это по глазам кума. Страх он не испытывал. Сейчас, подумал он, меня вырвет. Прямо здесь, на пол. На всякий случай он отодвинулся. Интересно, как он будет реагировать. А что если спросить: где ты был, сука, во время войны? *Где вы все были, сволочи.* Ему протянули протокол, он расписался. После чего положили перед ним печатный бланк с обязательством о неразглашении, и здесь тоже оставалось поставить подпись.

«Разъяснительная беседа... Держи карман шире», – пробормотала мать с кривой усмешкой.

Тебе не в чем себя упрекнуть, сказала она твёрдо. Если бы ты отказался, ничего бы не изменилось. Оттуда не возвращаются. А тебе бы они отомстили. Да, узнала его сразу, сказала, что нужен репетитор. А когда остались вдвоём, посоветовала уехать, вот и всё. Куда-нибудь в глубинку, страна у нас, слава Богу, большая. Она знала по прежним временам, что такие случаи бывали, людям удавалось отсидеться в глуши, пока там, наверху, не наступит очередная ночь длинных ножей, новые крысы не передушат старых. На другой день писателя не было на занятиях. Не появился он и назавтра, и через неделю, и через две недели. Не то заболел, не то перевёлся куда-то. Кто-то кому-то сказал по секрету, пошёл запашок, слушок: арестован; за что, лучше не спрашивать. Нет дыма без огня – наверное, есть за что. Пошёл слушок, за кражу книг в Ленинской библиотеке. Пошёл слушок – за участие в антисоветской организации. Уже не первая раскрытая организация. Этажом ниже, на философском, тоже раскрыли подпольный кружок по изучению индийской философии. На партбюро секретарь сделал краткое сообщение: органами государственной безопасности разоблачён и так далее; нам всем, товарищи, нужно сделать из этого серьёзные выводы. Не для разглашения. Этим была подведена черта, после чего стало ясно, что писателя вообще никогда не существовало. Кто такой NN? Не было никакого NN.

XX Побег № 2. Если это вообще возможно

1 ноября 1948

Поезд нёсся мимо закрытых шлагбаумов, пакгаузов, пустырей, поезд стоял на вокзалах, перроны, освещённые могильными фонарями, ночной стук колёс, как стук огромных часов под ухом, рассвет в потёках дождя, пассажир держал рюкзак

на коленях, в страхе протягивал билет контролёру, высматривал милицейскую фуражку на платформе, дремал, пробуждался в переполненном вагоне, вновь поднимал голову, налитую свинцом, и в панике проверял, на месте ли деньги во внутреннем кармане, вагон почти опустел. А там новые толпы штурмуют на станциях вагонные площадки, и опять милиция, и опять контролёры, и дежурный в красной фуражке подаёт знак кому-то на платформе, и в каждом из входящих беглец старался угадать переодетого сотрудника. Весть о побеге летела вслед за ним, пересаживалась с поезда на поезд, растекалась по городам. Так он думал. Пассажир смотрел на медленно проплывающие, нераспаханные поля, на таёжные леса, постепенно растущие на горизонте, надвигающиеся, словно оккупационные войска, и вот уже летят, обгоняя друг друга, тёмные ели, опускаются, так что становятся видны верхушки, вагон подрагивает, постукивает, пронзительный свисток локомотива, и полустанок пронёсся мимо, пронеслась будка путевого обходчика, поезд идёт по длинной загибающейся насыпи, над ним необъятное небо, и внизу, сколько можно охватить взглядом, густой неподвижный лес.

И тут тебя охватывает неопишное чувство, смесь отваги, отчаяния и злорадства; второй раз в жизни, очертя голову, он бросается навстречу небывалому приключению – прыжок с парашютом в пустоту. *Voilà!* – они явились среди ночи, как предсказывала эта тётка, – машина остановилась перед подъездом – сверяют номер дома, квартиры – кулачищем в дверь – нет, кулаком, наверное, не стучат, длинный звонок – фуражка с голубым околышем – за ним другие – квартира вслушивается, поднимаются головы с подушек – сапоги в коридоре – стук в дверь – вваливаются в комнату, узкую, как пенал. *Здесь проживает такой-то?* А его уже след простыл.

Странная теория – считается, что таким способом можно спастись. Переждать... пересидеть. Оно, конечно, верно, что там всё знают, всё видят, а всё же кому-то посчастливилось ускользнуть. Приедут незваные гости, а он здесь больше не живет. Ночной лейтенант сидит за столом, постукивает пальцами, другие заглядывают за портьеру, под кровать. Уехал, куда? Как же это вы не знаете. И давно? Да он совершенно отбил от рук, живёт своей жизнью. Тэк-с. Пристальный взгляд, пальцами та-та-та. И ведь не могут сказать, зачем пришли: государственная тайна. Удивительная теория, она выворачивает тайну наизнанку и обращает её против тех, кто продуцирует тайну. И что же дальше? А ничего. Дел много, работы невпроворот, отложат, а там, глядишь, переменится погода. Так уже бывало. Оказывается, была даже родственница в Ленинграде, муж был арестован – в двадцать седьмом году голосовал за троцкистскую оппозицию. Решила не дожидаться, когда придут за ней, собралась и укатила с трёхмесячным ребёнком на Урал. И прожила там два года, пока не рухнул Ежов и ветер не подул в другую сторону. Времена, сказала мать, не вечны. И видно было, что она изо всех сил старается в это поверить.

А ты, спросил он. А я, если успею, уеду к сестре. Она металась по комнате. Бог даст, сегодня ещё не придут. Они всегда являются накануне праздника, это известно. Откуда ты знаешь, спросил сын. Это известно, повторила она. Оба ни на минуту не усомнились, безоглядно поверили незнакомке во вдовьем платке. Да и нельзя было не поверить. Такие вещи не выдумывают; значит, знала. Мать провела полдня в очередях перед кассами на Ярославском вокзале. Была глубокая ночь. Писатель сидел, откинувшись на спинку дивана, всё ещё называемого оттоманкой, на котором он спал ребёнком, всё было как в прежние времена – пианино, буфет, только детского столика с книжками давно уже не существовало. Мать металась туда-сюда, забывала, вспоминала.

Подумать только, что делается. Теперь они уже и детей хватают. Но я тебе скажу – она остановилась с бельём в руках, – ты сам виноват. Ты мне никогда ничего не рассказываешь. Где ты проводишь время, с кем водишься. Шуточки, анек-

доты, неужели ты не понимаешь, где ты живёшь. Чего уж теперь говорить. Я для тебя не авторитет. Был бы папа жив, он бы тебя приструнил. Надо переждать. Всё-таки есть справедливость. Например, после тридцать седьмого года, когда сняли Ежова, всё изменилось. Сталин вмешался, и всё это кончилось. Она вздохнула, она действительно вела себя мужественно. Только бы не разбудить соседей. Вот деньги, вот тёплые носки. Где билет? Паспорт не забудь. Слава Богу, страна у нас большая. Везде есть добрые люди. Они приютят. Отсидишься сколько надо, а там и я к тебе приеду. Просто надо выждать. Она вытерла слёзы, высморкалась. Присесть напоследок, иначе пути не будет. Бог даст, времена изменятся. Это долго не может продолжаться. Главное, соседей не разбудить. Писатель сказал, что ему нужно попроситься. С кем? С Анной Яковлевной. Ты с ума сошёл, не смей!

Она первой вышла из подъезда. Взгляд налево, направо – никого. Тёмные купы деревьев за глухой стеной чехословацкого посольства, конусы жёлтого света под тарелками фонарей. До отхода поезда ещё добрых полтора часа, но лучше выйти, пока не рассвело. Молча двинулись к площади Красных Ворот, теперь она называлась Лермонтовской, по Орликову переулку пешком до площади вокзалов. Странная история, говорил он себе много лет спустя, но ведь чего только не бывает на свете. И страна, столь реальная, обступавшая со всех сторон, казалась ему в этих воспоминаниях ожившей легендой. Не забылись подробности, но сцепились в причудливый узор. Невидимое и всевидящее око наблюдало за ним со своих высот, но и это осталось предположением, творимой легендой, чем-то таким, что находилось на стыке возможного, вероятного и фантастического; всё было неправдоподобно в этой небывалой стране, вполне реальным был только финал.

Студент высаживается на станции с названием, о котором никто никогда не слышал, но он будет помнить его всю жизнь; никто не встречает, люди равнодушно косятся на его городское пальто, он стоит на остановке, трясётся на продавленном сиденье допотопного автобуса, сумка с московскими продуктами у ног, брезентовый дорожный мешок на коленях. В дальнем селе отыскивает попутчика, и ещё часа три в телеге, а дальше пешком. Кто посоветовал, чьи это знакомые и знакомые знакомых, неизвестно; кто-то кому-то звонил, кого-то нашёл, всё обиняками, род коллективного инстинкта, цепь страха и взаимопомощи; люди понимают, что надо спешить, – и всё тайна, все молчком, искра пробежала и погасла, ты меня не знаешь, я тебя не знаю. И, собственно, это даже не адрес: есть такие места, которых и на карте не отыщешь, куда и почта не доходит, откуда три года скачи, ни до какой цивилизации не доскачешь.

Шёл я и в ночь, и среди белого дня. Близ городов озирался я зорко.

Вот он в действии, неумирающий русский миф. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, побег с каторги по славному морю, из страны вглубь страны, в неисследимую глушь: исчезнуть, слинять, сорваться. Воля! Сами того не ведая, мы впитали эту идею с молоком матери.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала.

Обмануть всесоюзный розыск, уйти с концами. Жуки на булавках, мы все лелеяли эту мечту.

XXI Свет не без добрых людей

9 ноября 1948

Он поселился в сторожке на краю джунглей, которые были не чем иным, как одичавшим садом, брошенной заимкой или помещьем давно исчезнувших вла-

дельцев. Дальше начинался сырой тёмный лес. На ветхом столике стояла коптилка, лежали спички и толстая, погрызанная временем и мышами книга. Дощатое ложе застелено тряпьем, на гвозде тулуп. В углу – железная печка с трубой, колено подвешено на проволоке и другим коленом выходит из крыши. Измученному долгой дорогой постояльцу ничего не снилось. Утром на столе стояла еда. *Хлебом кормили крестьянки меня.* Он вспомнил – читал – в царское время женщины ставили крынки с молоком на полке перед окошком, для беглецов, бредущих через тайгу.

Он выглянул, светило холодное яркое солнце. Чуть-чуть золотилась пожухлая листва. Всё кругом словно вымерло. Новоселец повалился на топчан, успел подумать о том, что сейчас, должно быть, народ толпится на ступеньках амфитеатра, выходит из Коммунистической аудитории на галерею с колоннами; и тотчас он догадался, что все было сном: и тётка во вдовьем платке, и ночные сборы – ничего этого не было. Но и пробудившись, сидя на топчане, он как будто переместился из одного сна в другой. Он поднялся, добрел до отхожего места, рядом на столбе висел умывальник.

Писатель листал серые, обломанные по углам страницы, читал наугад, это была история Исхода. И сказал фараон, пусть перестанут громы Божии, отпущу вас, и отправились, числом до шестисот тысяч, не считая детей, как вдруг послышался хруст веток. Это были они, он замер, всё ещё надеясь, что не заметят, пройдут мимо. Бабий голос окликнул его. Он молчал. Дверь приоткрылась.

«Я уж думала, помер ты. Али сбежал».

Куда ещё бежать.

Лохматый зверь семенил навстречу, пролалял: это ещё кто? «Свои, свои», – бормотала старуха. Вошли в избу.

За столом на лавке под образами сидел мужик, весь заросший несседеющим волосом, можно дать ему меньше пятидесяти, можно и семьдесят. Студент поздоровался. Хозяин молча оглядел вошедшего, показал кивком на скамью. Гость выложил на стол банки с консервами и два круга блестящей, темнокрасной копченой колбасы. Стесняясь, положил рядом конверт.

Мужик заглянул в конверт, не вынимая, пересчитал деньги, ничего не сказал, сунул за пазуху. Разлил желтоватую водку по гранёным стаканам. Давай, сказал он, с новосельем. Тебя как звать-то.

Водка оказалась самогоном.

«Сальцом закусите», – сказала хозяйка.

Пёс стучал когтями, кашлял в сенях.

«Чего он там?» – спросил хозяин.

«Соскучил небось».

Пёс вошёл и уселся на вислом заду. Хозяин взял большой нож, рассек колбасу, отрезал ломтик. Кобель по имени Козёл вскочил, подобострастно подковылял, не сводя глаз с колбасы. Задрал морду и раскачиваясь на задних лапах, Козёл исполнил танец, следуя, как за магнитом, за ломтиком колбасы, который двумя пальцами держал хозяин.

«Хер тебе», – сказал мужик и положил ломтик себе в рот. Игра продолжалась, Козёл снова танцевал на задних лапах, поймал, наконец, колбасный ломтик и проглотил, не успев разжевать.

Напиток бросился в голову писателю, он беспомощно тыкал в тарелку алюминиевой вилкой. Волосатый мужик задумался, угрюмо посматривал на гостя.

«Та-ак, – сказал он медленно, – работать, значит, у нас будешь. А ты чего делать-то умеешь? Небось ни разу лопату в руки не брал».

«Огурчиком солёненьким...»

«Ты, мать, делом займись. Не встревай. У нас свой разговор. Ну чего, рассказывай. Как там жизнь-то?»

«Да никак», – сказал студент.

«Так уж и никак! Ты пей, пей. Здоровей будешь... Из самой Москвы, что ль, приехал? Кто победил-то?»

Студент не понял.

«Крепись, не поддавайся, – сказал хозяин, беря с тарелки пучок лука, – успеешь окосеть... Немец, говорю, в Москве али как?»

Писатель взглянул на свой стакан, взглянул на мужика.

Пёс переступил передними лапами, моргнул, скромно дал знать о себе.

«Пошёл вон... Всё одно. – Хозяин хрустел луком. – Под немцем-то, пожалуй, лучше. А?»

«Да ведь немцев давно уже нет».

«Куды ж они делись?»

«Мы победили».

«Это кто ж это – мы? Ты, что ль? – спросил мужик, прищурясь, и с шумом втянул воздух в волосатые ноздри. – Чтой-то не слышать, чтоб победили... Васён, – сказал он, – хватит тебе шебаршиться, садись с нами. С ним рядом садись...»

«Чего ты его спаиваешь. Вот, сальцом закусите».

«Ладно, бабка, твоё дело помалкивать. Ты, парень, если что, не бойся. Никто тебя здесь не выдаст. Пока, а там поглядим. Как себя покажешь. Да гони ты его вон! – загремел он. – Суку этого».

Хозяйка поднялась, отворила дверь, и пёс удалился, заметно припадая на задние лапы.

«Зависит, говорю, как себя поведёшь. Небось там делов наделал... Твоя забота. Я тебя не пытаю. У нас тут закон тайга, медведь прокурор».

Затем последовало молчание, хозяин крутил перед собой стакан, выпил не торопясь, схватил новый пучок, нюхнул.

«По-нашему так. Что Гитлер, что Усатый, все одно... С Гитлером-то, пожалуй, лучше, а в общем, один хер. Пушай они там себе глотку перегрызут».

«Уже перегрызли».

«Кому?»

«Гитлеру, кому же».

«А Усатый где?»

Гость пожал плечами. «В Кремле».

«А говорят, Кремль сгорел. Французы спалили».

«Дядя, – сказал студент, – когда же это было!»

«Ну, значит, восстановили. М-да. Надо бы ему, – продолжал хозяин, – девку какую найти, дело молодое».

«Найдём», – сказала Васёна.

«Может, Клавку позвать? Давно не виделись».

«Я те дам Клавку».

«Да не мне, не мне!»

«Знаю я тебя. Я те дам Клавку».

«Ладно тебе... Ну, давай, что ли, ещё по одной. Мать! открой консерву, чего он там привёз... Тут до тебя тоже один жил. – Как ты, скрывался... Да ты не трухай, я же не спрашиваю, что ты там натворил. Ешь, пей. Никто на тебя не донесёт. Вот я и говорю, старик здесь жил, в сторожке. Всё молился... Николу видишь? – Он повернулся, показал пальцем. Студент обвел иконы осоловевшим взором. – Да не та, внизу. Учить вас надо... Он оставил. И тулуп евоный. А Богородицу с собой взял».

«Давно?»

«Чего давно?»

«Давно он здесь жил?» – спросил писатель.

«Эва. Тому уж лет сто».
«Как это, сто?»
«Ну, может, чуток меньше. Я его не застал. Люди рассказывали. Лет десять прожил, а потом ушёл».
«Куда?»
«А леший его знает. В тайгу ушёл. А знаешь, кто он был?»
Снова послышалось царапанье, хозяйка отворила, пес воздвигся на пороге.
«Ну, чего тебе?»
«Соскучил», – сказала Василиса.
Кобель вновь намекнул, что не прочь поучаствовать в трапезе.
«Ишь чего захотел».
Не отказался бы и от...
«Ишь ты какая сука, выпить ему захотелось. А вот сопливого моего не хочешь? Пошёл вон».
Пёс вскинул жёлтые брови, пожал плечами.
«Старый стал», – заметил хозяин.
Дверь осталась открытой, Козёл, выйдя из сеней, расставил лапы перед крыльцом и, опустив зад, похезал.
Голос хозяйки донёсся: «Вот я тебя!»
«Так кто же он был?» – спросил писатель.
«Старец? Святой. То-то и оно. Царь».
«Какой царь?»
«Государь император!» – вскричал народный человек.
Студент воззрился на него.
«Он самый, – сказал мужик убеждённо, – кто ж ещё. Помер, проводили как положено, ну, там музыка, лошади с энтими, – он потряс корявой ладонью над головой, – с метёлками. Николашка на трон взошёл. А он, родимый, ночью, когда все разошлись, возьми и встань с одра смерти. И утёк по подземному ходу. Слияня! Там и одежда была для него приготовлена, вроде как крестьянин. В лаптях поканал. А вместо него верные люди другого в гроб подложили. Вот он тут и скрывался».
(А что, мелькнуло у писателя, может быть, в этом есть и резон – история вне хронологии. История без пресловутого «исторического подхода». Может быть, так и поймашь за хвост её неуловимый, бессмысленный смысл. Над этим стоило бы поразмыслить, но размышлять было некогда).
Студент заметил, что о старце написал Толстой.
«Это который, Лев, что ль? Правильно, значит, написал».
Писатель сказал, что он однажды видел похороны настоящего царя.
«Это которого?»
«Последнего».
«Врёшь. Это когда же. Тебя тогда ещё и на свете не было».
Подумав, он добавил:
«Видели мы их всех в гробу. Суки поганые... Чтоб им черти на том свете пятки щекотали...»
За перегородкой, где помещалась кухня, Василиса с грохотом свалила охапку дров.
«Да ведь уж топили, Васён!»
Бабий голос ответил:
«Холодно чегой-то».
«Всё сгорит, – бормотал волосатый мужик, – Всё-о-о, – повторил он с видимым удовольствием, – пойдёт прахом! Ну, давай еще по маленькой».
«Егоша, может, хватит?»

«Молчать!»

Выпили еще по маленькой.

«Сказано: всех покараю и не оставлю на камне... Ты читай Писание, там всё сказано. Евреи написали... По-нашему, жида. Умные, гады, всё знают. А насчёт того-этого, ничего не бойся. Тут закон – тайга. А если спросит кто, нет таких, и гребите отседа».

«Я вот тебе что скажу, – бормотал он. – Раз уж пошёл такой разговор... – Он наклонился и зашептал: – Меня тоже нет. Я уж который год живу как бы вовсе не живу. Спроси меня, кто я такой, я тебе не отвечу. Никто! Понял? Чего ты на меня смотришь? А? – мужик стукнул кулаком по столу. – Небось думаешь, налился и ничего не соображает. А на самом-то деле кто тут с тобой сидит? С тобой Григорий Петров сидит! А может, и не Григорий Петров, может, вовсе даже не человек, а так, одна мечта».

«Да что ж это такое!.. Ты его не слушай – болтает незнамо что».

«Нет меня. Убили, пропал без вести. У меня и похоронка есть, там прямо сказано: погиб в боях, за нашу советскую родину. Е...ть её в рот. Нет таких, и всё, и катитесь вы все к едреней фене».

XXII Путь жизни. Утрата девственности

Ноябрь или декабрь

Старуха нашла для него старые растоптанные валенки, телогрейку, треух, писатель бродил по заснеженной пустоши, возвращался к себе, топил печурку, спал, просыпался, читал вслух ветхую Библию, и зверь внимал ему, сидя на поджаром заду, щёлкал зубами, чесался, ловил блох, помалкивал. Однажды, миновав развалившуюся мельницу, перебрались по льду через речку и углубились в лес, пёс залаял, побежал, махая хвостом, провалился в сугроб, хрустнули ветки, белый пушистый убор посыпался с еловых лап, из чащи вышла снежная королева.

Вышла невысокая, присадистая, полнолицая, молодая, на вид лет сорока, в тёплом платке, из-под которого выглядывал белый платочек, в шубейке и маленьких чёрных валенках. Козёл крутился возле неё, она чесала его за ушами, приговаривая: Козлик. А тебя как, спросила она.

«Не хочешь говорить. А я и так знаю», – и пошла вперёд. Пёс выбежал на лёд. Добреши до мельницы, она сгребла ногой снег с единственной ступеньки, оставшейся от сгнившего крыльца.

«Кабы не проломилась», – пробормотала она.

Писатель опустил рядом.

Пёс осведомился, помахивая хвостом: так и будем сидеть?

«А куды нам спешить».

«Вы здесь живёте?» – спросил студент.

«Живём...»

Помолчали, женщина сидела, вытянув ноги в валенках, поправляла платок.

«Живём – хлеб жуём. Чего тебе, Козя? Домой хочешь?»

Она поглядела на белое ватное небо и широко зевнула.

«Чегой-то спать хочется. К непогоде. Потопали, милые».

По дороге разговорились: она жила в посёлке, километров за семь. Да какой там посёлок, полторы старухи. Небось, скучно тебе здесь, сказала она. Писатель ответил, что хозяйева хорошие. И ещё о каких-то пустяках. Григорий Петрович говорит, в сторожке будто бы жил святой какой-то старец. – Какой еще старец, не было никакого старца. – А кто же? – Никого там не было. – Хозяин говорит, давно: сто лет назад. – Ну, это другое дело; мало ли кто жил. Вон у нас помещики

жили, баре; ничего не осталось. – Якобы царь. Об Александре Первом тоже рассказывали, что он не умер в Таганроге, а скрывался в Сибири.

«Ты его больше слушай, – сказала Клавдия, – он тебе наговорит».

«Так и не пойму, кто он вообще-то?»

«Кто... – Она усмехнулась. – Никто, вот он кто».

«Они что, тебе родня?»

«Какая родня – седьмая вода на киселе».

Оттоптали снег с валенок и вошли в дом.

В тот раз ничего не было, и, кажется, прошло ещё сколько-то времени, Клава приходила несколько раз, прежде чем – прежде чем что? Впоследствии же всё вышло так, словно совершалось в один день.

«Давай помогу, что ль», – промолвила она, вслед за Василисой вышла на кухонную половину и вернулась, неся перед собой ухват с шипящей чугунной сковородой. Хозяин, заросший, как лесной царь, восседал под образами. Клава выбежала в сени – «я сейчас» – там была другая дверь – и вернулась в платочке, из-под которого кокетливо торчала ореховая прядь, в пёстром платье с бусами на груди, с неумело накрашенными губами.

«Ишь ты, ишь ты», – проворчала старуха. Григорий Петрович смотрел на Клавдию из-под нависших бровей. Все уселись за стол. Козя, не дождавшись, когда начнут, уже хлебал что-то из миски.

«Вот это другое дело, – сказал Григорий Петрович, по-хозяйски беря со стола бутылку с бело-зелёной этикеткой, – “Карагандинская”! Караганда-то знаешь, где?»

«Не знаю».

«И не надо знать. Это даже и не Россия».

«Почему же не Россия?» – спросил студент.

«Где брала?»

«Пей, отец, и не спрашивай. Кушайте, милые».

«Снег-то какой повалил. Завалит нас всех», – сказала Клава, наклонившись к окошку.

«Ничего, откопаем тебя».

«Кушайте на здоровье...»

Несколько времени спустя хозяин объявил:

«Всё, напился, наелся. А теперь вот почитаю вам».

«Да ты уж читал...»

«Пуцай послушают. Им будет полезно».

Василиса принесла толстую книгу в пожухлом чёрном переплете, мужик сдвинул в сторону тарелки, нацепил очки, посплюнул палец.

Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться.

«Это почему же?» – спросила Василиса.

«Молчать. Слушай и не перебивай».

Писатель спросил, что это за книга.

«Граф Лев Толстой. Слышал про такого?»

«Слышал вроде бы», – сказал писатель.

«Вот и помалкивай. “Путь жизни” называется».

Если люди женятся, когда могут не жениться, то они делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать, а если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться.

«Какой же это грех – женитьба, – сказала Василиса. – Чего он там пишет! Сам небось...»

«У Толстого было тринадцать детей», – сказал студент.

«Вот. Это тебе ученый человек говорит».

«Молчать... Много вас, умников».

Губительны для доброй жизни излишества в пище, также и ещё более губительны для доброй жизни излишества половой жизни. И потому чем меньше отдаётся человек тому и другому, тем лучше для его истинно духовной жизни».

«Вот, – сказал хозяин и строго взглянул на Клавдию. – Тебя касаемо».

«Я-то тут при чём».

«А при том, что женщина – сосуд греховный».

«Какой еще сосуд».

«А вот такой». Чтение продолжалось.

Говорят, что если все люди будут целомудренны, то прекратится род человеческий. Но ведь по церковному верованию должен наступить конец света; по науке точно так же должны кончиться и жизнь человека на земле, и сама земля; почему же то, что нравственная добрая жизнь тоже приведёт к концу род человеческий, так возмущает людей?

Главное же то, что прекращение или не прекращение рода человеческого не наше дело. Дело каждого из нас одно: жить хорошо. А жить хорошо по отношению половой похоти значит стараться жить как можно более целомудренно.

Григорий Петрович вздохнул и потянулся к бутылке.

«Да уж пил, хватит с тебя», – проворчала Василиса, налила четверть стакана и подала ему. Клава поднесла пучок лука.

«По местам», – сказал хозяин, дожёвывая головку.

Вам сказано, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Слова эти не могут означать ничего другого, как только то, что, по учению Христа, человек вообще должен стремиться к полному целомудрию.

Неиспорченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых сношениях. Называют одним и тем же словом любовь духовную – любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую мужчины к женщине или женщины к мужчине. Это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое, духовная любовь к Богу и ближнему, – есть голос Бога, второе – половая любовь между мужчиной и женщиной – голос зверя.

«Вот – поняли? – Он снял очки, уложил в футляр. – Половая любовь – это, значит, когда это самое, – голос зверя! Блядство, по-нашему. Поклонись зверю, и огню его, и чаше его. Клавушка, – сказал он неожиданно плаксивым голосом, – совсем ты меня бросила...»

Немного спустя разомлевший и подобревший хозяин сидел спиной к столу, расставив ноги в валенках и полосатых портах, с гармонью на коленях, раздумывавшая Клава обнимала и целовала его в ухо, Козёл спал, головой на полу, разложив лапы, хозяйка полезла на полати. На столе среди тарелок с недоеденной едой, толстых гранёных рюмок, порожних бутылок горела керосиновая лампа, и снег по-прежнему мертво и густо валил за окошками. Со скрежетом растянулись половинки баяна, запели тонкие регистры, заворчали под заскорюзлыми пальцами басы, студент неловко обхватил Клаву, почувствовал большую грудь женщины, чашу бёдер, оба раскачивались в каком-то подобии танго, она отступила, баян развернулся. Их-э, й-эх! Йих! – Клава подрагивала, помахивала платочком, поворачивалась, поглядывая из-за плеча, мелко перебирала ногами в толстых вязаных носках, бусы подпрыгивали на её груди, двумя руками она манила к себе студента, увернулась, вновь приблизилась, старик кивал, бил ногой, выглядывал из-под свирепых бровей, как волк из кустарника, во всю ширину изогнул половинки баяна, качался вправо и влево, и вместе с баяном раскачивалась вся изба.

Собака нехотя поднялась, потянулась, сладко зевнула, щёлкнув зубами. Козёл пристроил передние лапы на шаткую лесенку, сделал попытку вспрыгнуть. Хозяйка с печи протянула ему руки. Писатель подхватил Козю сзади, и пёс вскарабкался на лежанку. Сильно коптила лампа. Клава подбежала и прикрутила фитиль. Писа-

тель следил, как мужик, босой и взмокший, расставив ноги в портах, держал на коленях женщину, как отколупывал толстыми пальцами пуговики на груди у Клавы. Пёс, моргая, смотрел сверху на них.

«Козя, чегой-то он делает, а? Сам говорил, сосуд греховный...»

«Клавушка, – лепетал Григорий Петрович, – пойдём со мной...»

«Куда это?»

«На сеновал пойдём».

Клава вздохнула: «Беда мне с вами... Ладно, – сказала она, – повеселились, и будет. Я домой пошла. Ну вас всех...»

«Клавушка, – всхлипнул мужик, – да куды ты пойдёшь. В такую темень... И дорогу-то небось замело».

Они вошли в сторожку. В темноте Клава нашарила на столе спички, засветила коптилку. Писатель сидел на топчане. Женщина развязала платок, расстегнула шубейку, сидела на коленях перед печуркой.

«Старик-то наш как разошёлся, а? На сеновал захотел... Козёл сладострастный. У них и сеновала-то никакого нет, скотину не держат, зачем им сеновал?»

«Ты с ним... у тебя с ним было?» – спросил студент.

«Было, не было, тебе какое дело».

Она насовала в печурку бумагу, щепу, втокнула поленья, дверца не закрывалась. Повозившись немного, чиркнула спичкой, подождав, затворила дверцу и опустила защёлку.

«Было, да сплыло», – сказала она.

«Слушай, а кто же он всё-таки?»

«Петрович? Зачем тебе знать – так уж приспичило? – Она поднялась, отряхнула колени. – Дезертир, вот кто! Когда война началась, они с бабкой в городе жили. А у них в деревне дом. Успел он попасть на фронт, али нет, не знаю».

«Сколько ж ему лет?»

«А Бог его знает. Сразу-то не забрали, вроде бы справкой обзавёлся. А потом и до него дошла очередь. Только через месяц он вернулся, говорит, комиссовали, а у самого фальшивый паспорт, на чужое имя, это я точно знаю... Ну вот, пожил немного в деревне, а потом сюда, так всю войну и пересидел. Хи-и-итрый мужик».

«Ты смотри не говори, – добавила она, – что я тебе рассказывала».

«Я тоже», – сказал студент. Сказал неожиданно для самого себя.

«Что – тоже?»

«Убежал. Меня вроде бы собирались арестовать».

Пламя гудело в печурке, стало тепло. Клава уселась рядом с ним. Теперь она была без платка, встряхнула ореховыми волосами.

«Взопрела. – Она стащила с себя шубейку. – Давай и ты раздевайся. Чего ж ты думаешь, мы не догадались, что ль».

«О чем догадались?»

«О чём, о чём... Не надо об этом, – зашептала она, – что там с тобой было, никому до этого дела нет... Смотри только, никому больше не говори... Бог с ними со всеми... Обойдётся, забудется. А мы с тобой сейчас поженимся. Давай, сымай».

Она снова присела перед печкой, железо уже начало багроветь вокруг трубы. Клава отворила рукавицей дверцу, запихнула ещё два полена в огненное чрево.

«А это нам больше не нужно» – и задула коптилку.

«Вот сюда, – шептала она, засовывая к себе под сорочку руку студента. Её грудь с твёрдым соском влилась в его ладонь. – Поласкай, поласкай... и другую тоже... а теперь вот сюда... И я тебя поласкаю».

Он почувствовал её руку, медленную, гладящую, обнимающую.

«Нет, нет! – сказал он испуганно, – постой!»

«Всё... не буду... Тесно тут... – проговорила она укладываясь на топчан, – ничего, как-нибудь... Ну, иди».

Причащение чаше и огню совершилось в несколько мгновений.

XXIII Слово «документы» в этой стране всегда означает: паспорт

5 марта 1949

Не каждый год, хоть в Азии, хоть в Европе – а где, собственно, помещается наша Россия, в какой части света, никто толком не может объяснить, мы ведь сами часть света, не Европа и не Азия, – не каждый год бывает такая ранняя весна; тебе, приятель, повезло. Вокруг ещё громоздились пласты жёсткого ноздреватого снега, земля не успела расступиться, а небо уже дышало пьяной влагой, и дорога, в хрупком стекле луж, блестела на солнце. Всё с тем же заплечным мешком странник шагал по обочине, всё та же на нём ватная телогрейка, фантастическая, некогда фетровая, шляпа, на ногах кирза. Он предполагал часа через два добраться до деревни. А что там? Свет не без добрых людей, сказала Василиса: недельку-другую проболтаешься, а там, Бог даст, вернёшься. Да, но... Петрович. Это было одно из тех подозрений, которые никогда не удаётся ни подтвердить, ни опровергнуть.

Две ночи подряд выла собака. Птица билась в окошко. В облаках мелькал серебряный месяц. Старуха гадала на червонного короля, выходило – дальняя дорога. Ещё ничего никто не знал. Что-то чувствовалось. Через два дня Клавдия явилась с новостью: ждут какое-то начальство. Может, и облава. На кого облава-то? А кто их знает. Люди бают, а я почём знаю. Да что говорят-то? Постановление вышло, слышал кто-то: об усилении мер. Вроде банда объявилась, грабят, поджигают.

Сказала и пожалела. Григорий Петрович, волосатый хозяин, сидя в углу под образами, где он, казалось, проводил всё время, вынес решение: не про нас это. Мы не воры, не разбойники, нас не касает. А ты, парень, отседа вали. И Василиса снова: ты там побудь где-нибудь, а потом назад вернёшься. Петрович уточнил: поглядим. Да смотри: о том, где жил, у кого, – никому, понял? Было ясно, что он струсил.

Позже Клава объяснила. Начальство начальством, может, и вправду вышло новое постановление, да не в том дело. «Ты что, не усек, что ли?»

Это была ее версия. Старый козёл возревновал. Но это же не новость, возразил студент.

«Что не новость?»

«Что мы с тобой».

До сих пор как-то обходилось. Изредка она уступала Петровичу. Даже, пожалуй, не так уж и редко.

«А что поделаешь. Только я прямо сказала: если его прогонишь, на меня больше не рассчитывай, уйду. А потом и вовсе».

«Что вовсе?»

«Перестала ему давать, вот что!» Значит, почувствовал, что тут настоящая любовь.

Писателя томило неуместное любопытство. Он спросил:

«Скажи, Клава, а кто из нас лучше?»

Она ответила просто:

«Кто лучше умеет? Он».

«Он?»

«Ну да. Милый, – сказала она, – да разве в этом дело?»

«А я думал», – пробормотал он.

«Чего ты думал?»

«Что для тебя это важно. Ты такая страстная...»

Она засмеялась.

«Страстная, да. Только это одно дело, а любовь – другое. Учить тебя надо...»

Словом, Петрович ждал повода. Струсить, может, и струсил. Но главное, искал повод избавиться. Только я ему тоже не подстилка, сказала она.

«Ты там побудь немного, – шептала она, – подожди меня. Я к тебе приеду. Я всё приготовила, у меня и деньги есть, и всё. Поедем в Уфу, у меня там тётка живёт. У неё все знакомые. Паспорт тебе другой выправим. Устроишься где-нибудь. Будем жить с тобой...»

Он хотел спросить: а может быть, Григорий Петрович попросту донёс на него? Известил там кого надо. Решил, наконец, от него избавиться.

Ночью лежали, обнявшись, на жаркой скрипучей кровати у Клавы, засыпали и просыпались, давай напоследки, а вот я тебя научу, ещё так, бормотала она, проявив незаурядную изобретательность, тяжело дыша, лаская и будоража его плоть, и новые силы рождались, словно дело и назначение пола всё ещё не были исполнены до конца. Стало ясно, что эта часть жизни завершилась. Пробудившись, он увидел яркий свет в низких окошках. Сел, мучительно зевая. Было тихо. И пришло отрезвление. Он ничего не понимал. Зачем, собственно, всё это, зачем понадобилось бежать из Москвы? Ложная тревога, и доказательством было то, что никто так не разыскал беглеца. Никто и не разыскивал. Нелепый разговор со старухой в университете, кто её знает, откуда она взялась. Всё предстало в ином свете: в Египте мы сидели у котлов с мясом. В Египте остались Наташа, Аглая...

«Батюшки, проспали!»

Клавдия вскочила с постели.

Писатель ел ложкой яичницу с чугунной сковороды. Клава запихивала в мешок дорожные харчи. Солнце стояло уже совсем высоко, а он всё шёл и шёл, и ничего не было видно впереди, кроме сизой кромки лесов. Медленно напозлали оттуда дымные графитовые облака.

Неизвестно, в котором часу он добрёл до деревни; начинало смеркаться. Сыпался лиловый снег. Ни звука, ни лая собак. Избы заколочены досками крест-накрест, кое-где висели на окошках полуторванные ставни. Кто-то обитал за этими окнами; деревня, явно не та, о которой говорила Василиса, была населена призраками. Тем лучше. Снег шёл всё гуще. Давно уже промокли сапоги, одежда набухла влагой. Попрошусь, думал он, переночевать. Так он дошёл до конца короткой улицы, из мглы явились остатки кладбищенских ворот, церковь со сбитой маковой. Тут он увидел, что в проломах окон мерцает огонь.

Странник вступил на паперть, приоткрыл тяжёлую дверь. Пахло дымом, в полукруглом каменном зале на полу был разложен костёр. На стенах смутно виднелись полустёртые лики святых. Вокруг костра на тряпье сидела компания. На вошедшего обернулись. Он поздоровался.

Никто не ответил. Студент топтался, не решаясь что-нибудь сказать. Кто-то промолвил: «Эва, да это Андрюха». Другой возразил: «Какой тебе Андрюха».

Спросили: «Ты кто такой?»

Он пожал плечами.

«Ты чей будешь-то?»

«Ничей», – сказал студент.

«А ничей, так садись».

Ему подстелили что-то. Он снял мешок с плеч и опустился на пол.

«Вот, – сказал он, выложив свои припасы. – Не хотите?»

«А выпить не найдётся?»

Писатель вытащил бутылку, заткнутую бумагой, сокрушённо развёл руками.

«Воды у нас тут и так хватает, – сказал старшой. – Ну давай, что там у тебя».

Компания оживилась, старшой крякнул. Тащи из нашего эн-зэ, сказал он, раз такое дело. Поднялась фигура в лохмотьях. Пошёл следом за ним и старшой, тощий бородатый мужик. Несколько минут спустя он вышел из царских врат, облачённый в старую фелонь, с медным наперсным крестом и в камилавке, за ним шел второй с бутылью.

«Благослови, Господи!» – вогласил старшой. В костер полетели щепки, обломки досок. Скучная снедь была разложена на чём-то. Мутный самогон пошёл по рукам.

Что же произошло потом? Всё приключение было недолгим, по крайней мере таким казалось впоследствии. Засыпая, писатель думал о том, что это, пожалуй, неплохой выход – прибиться к ним на какое-то время.

Он увидел себя на дороге, или это был переулочек его детства, кто-то шёл навстречу, раскрыв объятая, говорил, кричал ему в ухо, как он рад, что всё так счастливо сложилось. Писатель открыл глаза, его ослепил карманный фонарик. Человек в чёрных валенках с галошами, в шинели и шапке тряс его за плечо.

«Что? Кого?» – пробормотал студент.

«Ваши документы».

«Какие документы?»

«А ну, поднимайся», – сказал милиционер.

XXIV Смерть – если это была смерть

1953 год

1

Карлик знал, что он излучает страх, поле страха окружало его, как электромагнитное поле, чье напряжение возрастает обратно пропорционально квадрату расстояния от генератора: самый большой страх испытывали соратники. Карлик гордился этой способностью и должен был постоянно тренироваться, чтобы сохранить форму, как тренируется спортсмен или упражняется музыкант-виртуоз.

Как всякий, кто убил очень много людей, он сам был одержим страхом за свою жизнь; оттого, быть может, это чувство было ему ближе и понятней других человеческих чувств. Но ужас сродни восторгу – карлика можно было только обожать; страх, думал он, не может быть ничем иным, как доказательством любви; страх – это и есть любовь. Сидя в одиночестве в глубоком кресле, в углу тёмной ложи, он смотрел на злого волшебника Ротбарта, который махал красными матерчатыми крыльями, насканивая на отважного серебристо-голубого принца Зигфрида, а снаружи, над двухколёсной повозкой греческого бога, над восьмиколонной глыбой театра и опустевшей площадью, вокруг могильных фонарей, металась мокрая зима. И танцовщики, и оркестранты, и дирижёр, и рабочие сцены, и переодетая охрана в партере и на ярусах, в фойе, в коридорах и на лестничных площадках, за кулисами и позади колосников – все испытывали на себе воздействие радиационного поля вождя. Но случилось так, что дирижёр, тучный старик во фраке со звёздочкой лауреата, как-то по особенному, слишком высоко взмахнул палочкой, и неслышно распахнулась тайная дверь ложи. Пахнуло холодом, карлик занёс указательный палец над кнопкой тревоги – сработал мгновенный рефлекс – и медленно повернул седую голову. Бледная особа, вся в белом, подчёркивающим её худобу, вошла, готовая к услугам, приложив палец к губам. Силуэт дирижёра в оркестровой яме размахивал руками, кланялся и раскачивался. На сцене бушевал ураган. Всё поехало в сторону; он не успел нажать кнопку из-за внезапного головокружения. Бледная дама исчезла. Таковы были обстоятельства первого предупреждения.

Карлик знал, что история абсолютно детерминирована, подчинена железному закону, и знал, что закон, безошибочно правящий историей, – это он сам: без этого убеждения он не мог бы стать тем, кем он был. Ошибки совершали другие. Однажды некий писатель, прибывший по приглашению, как все они, чтобы восхищаться, теперь уже невозможно вспомнить, как его звали, расхрабрился и задал вопрос: зачем столько портретов человека с усами? Вопрос понравился карлику, он объяснил. Зарубежный гость не понимал, что всеобщее поклонение было не чем иным, как гордостью за страну: с ним, под его руководством она стала первой в мире. Он ответил, что не может отвечать за других: народ любит его, ничего не подделаешь. И это было правдой. Ни на одно мгновение народы не должны были забывать, что он здесь, со всеми и над всеми, что в его окне, в Кремле, всю ночь горит свет. Всю ночь, полный дум, он расхаживает в своём кабинете. Карлик был цельным человеком. То, что не удавалось другим – писателям и политикам, – монолитная мысль, – достигалось ценой гениального упрощения. Ухватиться за главное и вытянуть всю цепь. Вот решение задачи, какой бы запутанной она ни казалась. Как если бы всё можно было вытянуть в цепь, выстроить в одну линию. Но ведь надо только уметь взяться, и окажется, что так оно и есть.

Не зря подростком он учился в семинарии. Сказано в Писании: твоё «да» пусть будет «да», твоё «нет» – «нет». И дальше что-то о тёплом – ни холодном, ни горячем. Эти церковники были не дураки. Нет, тёплым он никогда не был. Он был холоден, он был горяч. Он ненавидел историков, вечно твердивших о том, что события надо рассматривать одновременно и так, и сяк. Карлик смотрел в корень. Он упростил историю. В этом была его сила, его гений. Раньше других он внял тайному зову истории. Из глубины веков ему подавали приветственные знаки его предшественники, великие государи Руси. Он сам стал величайшим русским государем. Не только восстановил в её исконной целостности российскую державу, но раздвинул её границы ещё дальше.

Он был по-своему неглупым, этот человек с седеющими усами. Две вещи он усвоил основательно: что власть окружает властителя особым ореолом и что властителю нужен стиль. По поводу первого пункта следует сказать, что существует очарование власти. Власть рождает величие, а не наоборот. Люди жаждут иметь над собой повелителя, наделённого всемогуществом, всеведением, всевидением, – носителя абсолютной правоты. Таким его делает власть. Он внушает священный ужас, чтобы тотчас смягчить его доброй улыбкой, незлобивой шуткой. И чудо: в его устах плоский юмор превращается в тонкое остроумие, банальность – в прозрение, пустые, ничего не значащие слова заключают в себе высшую мудрость. Всё это делает власть.

Следует отметить: принцип единоначалия не противоречит марксизму. Впрочем, и великое учение требует поправок. Нужен новый вклад в сокровищницу. Учение учением, а политика есть политика. Она предъявляет свои требования.

Что касается стиля, то он выработал его по контрасту. Он создал противовес говорунам, окружавшим Ленина, которых он ненавидел, и первому среди них, умевшему заечь толпу на митингах. И самое главное – противовес заклятому врагу, в котором увидел было союзника. Этот горел, пылал, бесновался, яростно жестикулировал, шагал вдоль шеренги своих янычар, с выброшенной рукой, здоров туплеобразный нос под лакированным козырьком. Это был нерусский стиль. Русскому народу претит всякая театральность. Карлик был воплощённая скромность. Он был спокоен, прост, в полувоенном френче и фуражке скупно приветствовал ликующие массы, скупно, вдумчиво ронял слова, подкреплял их коротким указующим жестом.

3

Вскоре после этого последнего, как оказалось, посещения «Лебединого озера» он призвал ближних соратников, как обычно, смотреть кино: в полумраке сидели в низких уютных креслах в маленьком зале, это была «Клятва», эпохальный фильм с любимым артистом Геловани. Да, карлик был скромн. Но народу нужен не только такой вождь: ещё больше нужен двойник в белом мундире с брильянтовой звездой на шее, в широких золотых погонах, чуть-чуть седеющий, нестарый и нестареющий. Искусство и Судьба уготовили артисту эту историческую роль. С некоторых пор ему было запрещено бывать на людях. Геловани скрывался в своём замке в Кутаиси, соратники видели его, как и обычные люди, только на полотне. Карлик смотрел картину много раз, знал её наизусть, и всякий раз испытывал чувство, что это и был настоящий вождь, его подлинное воплощение, а сам он лишь замещал вождя. Нельзя сказать, чтобы это двойственное чувство было таким уж неприятным. В нем содержалась толика гарантированного бессмертия. Не то же ли ощущали его соратники? После кино все отправились на ближнюю дачу. Карлик шутил, пил и ел с аппетитом, играя, замахивался на сотрапезников; было видно, что недавний отдых на Кавказе пошёл ему на пользу. Между делом обсуждались дела.

Было выдвинуто предложение (как выразился кто-то из сотрапезников, «думается, назрело время») ввести новый термин, венчающий великое учение. Вместо «марксизм-ленинизм» – *марксизм-ленинизм-сталинизм*. Для начала целесообразно применить в лозунгах ЦК к Первому мая. Роль терминологии, новых слов чрезвычайно велика. Они знаменуют новый этап. Карлик слушал, но ничего не сказал. Предложение повисло в воздухе.

Говорили о погоде, о югославском ренегате и о только что открывшемся новом заговоре. Разливая вино, карлик поинтересовался ходом следствия, и все глаза обратились к первому человеку. Ждали подвоха. Тучный шеф государственной безопасности засопел мясистым носом, блеснул стёклышками пенсне, нити заговора врачей-убийц, сказал он, ведут глубоко. Это было то, чего ожидал от него божественный карлик. Он погрузился в задумчивость, покрутив бокал, взвешивая каждое слово, заметил, что напрасно кто-то думает, будто старые заслуги освобождают от ответственности. Жутким ветерком повеяло. Вот так, сказал он веско и снова взялся за бокал, тотчас вознесли свои чаши все остальные. Вино было проверено, на всякий случай он проследил, чтобы сделали несколько глотков. Было нелегко отделаться от тяжёлого предчувствия. Вождь отхлебнул сам. Всё-таки это был хороший признак. Настроение улучшилось, заговорили о том, о сём; на рассвете, сильно нагрузившись, выбрались из-за стола, хозяин был или казался навеселе, однако твёрдо держался на своих коротких ногах, обутом в мягкие сапоги, поглядывал снизу вверх каждому в глаза, похлопывал по плечу. Было около шести часов утра. Огромные чёрные лимузины развезли сопящих, полуживых сотрапезников по домам. Розовая заря осветила зубчатую цитадель. Ничто не предвещало беды.

В полдень раздался звонок из подмосковной дачи. Голос дежурного генерала доложил, что вождь не вызывает к себе, как обычно делал в этот час.

4

В то роковое утро он видел сон, в тягостном сознании, что его постоянно отвлекают от важного дела; просыпаясь, он думал: какое это дело? Солнце его жизни клонилось к закату, карлик отбрасывал длинную тень гиганта. Долгой казалась ему его жизнь и вместе с тем – неоспоримый признак старости – как бы

вчерашней. Иногда он был даже убеждён, что так оно и есть, и поправлял себя: не сколько-то лет тому назад, а на прошлой неделе.

Подобно спириту, он искал подбодрения и совета у предков. Некогда царь Иван Грозный притворился умирающим, чтобы увидеть, кто из ближних ждёт его смерти. Это была неглупая мысль. На последнем пленуме отчётный доклад вместо карлика делал второй из ближайших, тучный, мучнистый, с некоторых пор при перечислении имён его имя стояло сразу после имени вождя, что давало повод для тайных злорадных размышлений о кураторе госбезопасности, который как будто оказался передвинутым на второе место. Закончив, как полагалось, здравницами, докладчик переждал аплодисменты, вернулся на своё место за столом президиума и возгласил: «Слово предоставляется товарищу...» Этого ждали и не ждали. Зал, едва успевший отхлопать ладони, снова грохнул аплодисментами. Теперь карлик поднялся со своего места, медленно сошёл по трём ступеням к пульту. Всё ещё продолжалась, не могла утихнуть неистовая овация. Вождь свирепо усмехнулся. Поднял, наконец, руку, укротил восторг, дал понять, что время заняться делом. Сумрачным взором обвёл притихший зал. И заговорил глухим желудочным голосом. Знал ли он о том, что это его последняя речь?

Как всегда, он был мудр, нетороплив, загадочен. Поразил всех. Он сказал, что он стар и близится время, когда другой займёт его место. Этого никогда не могло случиться, но так он сказал. Другой взойдёт на вершину вершин. Но кто? Сумеют ли преемники закрепить и умножить достигнутые успехи, проявить твёрдость в борьбе с врагами? Нет, – и он скорбно покачал седой головой. Одного примера достаточно: стоило только удалиться на несколько дней, дать себе короткий отдых, как они наделали уйму ошибок. Так он подверг большевистской, ленинской, нелюбезной критике ближайших соратников. Их поведение граничило с преступлением. Услыхав это, шеф безопасности блеснул стёклышками пенсне. Так, взлетев, вспыхивает на солнце топор палача.

И тут он остановился, сделал паузу и совершил гениальный ход конём. Сказал, что готов и дальше выполнять свой долг, оправдать доверие и нести бремя. Готов оставаться Генсеком, а также по-прежнему исполнять обязанности председателя Совета министров. Но от должности ведущего заседания Секретариата просит его освободить.

Он был разочарован, когда после мгновений всеобщего замешательства тот, с тестообразным лицом, второй из ближайших и, несомненно, метивший в наследники, воздел руки, громогласно простонав: «Нет, просим остаться!» И тотчас зашумел, взроптал Свердловский зал. Просим остаться! Просим остаться! Карлик понял – как понял Грозный, – что кто-то там в президиуме клюнул было, но опомнился, кто-то чуть было не выдал себя, но вовремя разгадал игру.

5

Не следует ожидать от хрониста (или кого бы то ни было), что он представит единственно верную сводку событий; было бы странно, если бы дальнейшее выглядело неопровержимым, а не осталось зыбким, так и сяк истолкованным, если бы конец карлика не был опутан клубком сплетен, квазиисторических версий и легенд. История, как и религия, апеллирует к фактам, но требует веры. Трещины действительности тем глубже, чем меньше мы ей доверяем.

Спустя немного времени в кабинете на подмосковной даче зажёгся свет, стража вздохнула с облегчением. Но отшельник по-прежнему не давал о себе знать. Сколько часов прошло после этого, никто не знает. Прибыли соратники. Когда после долгих сомнений, тревожного перешёптыванья, пререканий, кто первым откроет дверь, все вместе, наконец, втиснулись и вошли, оказалось, что спальня

пуста. Карлика нашли в большой столовой на полу, в ночной сорочке и пижамных штанах. Было одиннадцать часов вечера, карлик спал.

Он спал, но это был необычный сон. Карлика перенесли на диван в малую столовую. Снова споры и колебания: дать ли ему выспаться? Вызвать врачей? Оба решения были одинаково опасны, ибо явление белых халатов означало бы, в случае если вождь проснётся, что они сочли его опасно больным. Отсутствие же врачей можно было истолковать как желание дать ему окочуриться беспрепятственно и поскорей. В итоге прений сочли за благо удалиться, дабы карлик, пробудившись, не увидел, что они оказались свидетелями происшедшего: спящий обмочился. Больному человеку это простительно; но тогда получается, что он в самом деле нездоров, — и они вышли на цыпочках, с величайшей осторожностью, а место возле ложа в малой столовой заняла, незаметно явившись, ни с кем не здороваясь, высокая дама в белом.

6

Наступил первый день марта, годовщина убийства императора, когда грянул взрыв, покалечивший лошадей, и самодержец вышел из кареты, и второй злоумышленник, подбежав, бросил пакет с бомбой между собой и царём; роковая годовщина, о которой карлик, всё больше ощущавший себя византийцем, запретил вспоминать.

Минувшая ночь казалась далёкой, снова прибыли на дачу; уже много часов из покоев вождя не поступало сигналов. Профессора и академики медицины первыми вошли в малую столовую, и вслед за ними соратники.

Никто не решался приблизиться к карлику, словно он был под током в тысячу вольт. Главный академик первым притронулся пощупать пульс. Правая рука и правая нога были парализованы, лицо, изрытое мелкими рытвинами, след перенесённой оспы, было перекошено, и левая щека отдувалась при дыхании. Больного переодели и внесли в большую столовую, где больше воздуха. Карлик издавал неясные звуки. К нему входили в носках. Как тяжесть перекрытий распределяется по опорным столбам, так члены консилиума разделили между собой тяжкое бремя ответственности. Было назначено безопасное лечение: кислородные подушки, уколы камфоры и кордиамина. Все понимали, и никто не смел признаться себе, что лечение уже не поможет. Однако на другой день приоткрылся один глаз, перекошенное лицо зашевелилось. Карлик улыбался. Поднял левую руку, показывал пальцем в пустоту. Возможно, в эту минуту дама-сиделка в белом, на которую старались не обращать внимания, появилась в дверях, он первым её увидел. Шеф тайной полиции склонил над ним мясистый рубильник, воззвал: «Товарищ С.! Здесь находятся члены Политбюро. Скажи нам что-нибудь». Карлик подмигнул и ему. Вдруг послышался шум, крупное цоканье сапог, в расстёгнутой генеральской шинели в столовую ввалился Василий, он был пьян. «Суки, сволочи, загубили отца!..» Он стоял, закрыв лицо ладонями и надрывно рыдал. Академики не решились отменить лечение, задачей которого было не дать повода для подозрений. Пора было принимать ответственное решение. Поспешно прибыл перепуганный до немоты главноначальствующий всесоюзного радиовещания. Шеф безопасности лично составил текст. И голос главного диктора страны, торжественно-загробный голос, в квартирах и на столбах, в далёких городах, где солнце, поднявшееся из-за Курил, уже клонилось к закату, в горячих степях и за Полярным кругом, в тайге, в бараках для заключённых и казармах охраны, возвестил о тяжком недуге вождя.

Новость дошла до всех ушей, но никто не решался признаться, что он понял истинный смысл этих слов: «потерял сознание». В школах плакали учительницы. В таёжных дебрях рыдали медведи и лоси. К платформе Белый Лух сто второго

километра лагерной железной дороги подошёл состав с уголовной шпаной, в узком зарешечённом окошке под крышей вагона показалось высосанное лицо подростка, и гнусавый аденоидный голос заорал:

«Ус *подох!*»

7

Если это был он. Сказание о двойнике – секулярная оболочка бессмертия. Некогда в дни Первомая и Седьмого ноября вождь с трибуны мавзолея приветствовал свои портреты на знамёнах, на палках, на брусках-носилках. Народ изображал демонстрацию. Демонстрация изображала Народ. Был ли (логически рассуждая) стоявший на трибуне в свою очередь изображеньем Вождя? Издалека, за цепью охранников, видели великого человека в усах, в шинели и фуражке. Карлик вёл мистическое двойное существование. Но кто бы ни был тот, на трибуне, он был кем-то, был во плоти. Мало-помалу, однако, он растаял и растворился в субстанции жизни, как Бог пантеистов в природе или как беллетрист в своём романе. Остались портрет и глухой желудочный голос. Этот голос обратился к подданным на двенадцатый день после вражеского вторжения. В замечательном фильме «Клятва» карлик-великан в белом мундире, в День Победы, выходил из самолёта к народу. Когда же, наконец, по прошествии лет, карлика увидели в его неподдельном естестве, его уже не существовало; получалось, что он вернулся к действительности, когда его больше не было, явился во плоти после того, как плоть умерла.

Он лежал в цветах и лентах, в мундире, застёгнутом на все пуговицы, в золотых погонах, со звездой, усыпанной брильянтами, лежал по стойке «смирно», вытянув руки вдоль короткого туловища, смежив орлиные очи. Бледная дама уже не раз появлялась в эти дни и на этих страницах; сейчас она сторожила у изголовья. Выскочил откуда-то чёрный мальчик, ангел со стрекозиными крылышками, ее сын, вскарабкался к усопшему и поцеловал его в усы. Никто не обратил на него внимания, в рассказах очевидцев о нем нет ни слова. Он стал у ног почётного караула: по обе стороны гроба застыли тучный шеф тайной полиции, мучнисто-ожирелый наследник, впавший в детство первый маршал и другие. Рыдала музыка, отдалённо напоминавшая траурный марш Шопена. Но был ли тот, чей профиль виднелся над пышным кружевным глазетом, тот, мимо которого, подгоняемая стражей, семенила, спешила толпа плачущих, смертельно напуганных и осиротевших, – ибо никто не знал, что с ними будет дальше, – тот, чью реальность удостоверил факт смерти, так что нельзя было уже сомневаться, существовал ли он на самом деле, – был ли он *Тот самый?*

Между тем человеческий фарш запрудил все пути к Колонному залу. Живое месиво колыхается на Манежной площади, в Охотном ряду, на Театральной площади и площади Революции. Ожило древнее чувство конца времён. Храпят, задирая морды, кровные кобылицы, переступают точёными ногами, конная милиция поддаётся, теснимая толпой. Визжат женщины, вскрикивают затёртые и затоптанные. Люди ищут спасения в подъездах и подворотнях. Темнеет. В плачущем свете фонарей толпы всё ещё волоклись, не зная пути, пробивались к вокзалам, искали ночлега. Солдаты прыгивали с грузовиков, собирали трупы задавленных, раненые лежали вповалку в приёмных отделениях больницы.

Чем меньше мы верим в действительность, тем шире, как на треснувшей льдине, расходятся в стороны её расщелины. Слухи о том, что народу показан был кто-то другой, почти приблизились к градусу достоверности, когда стало известно из неизвестных источников, что вождь, преданный соратниками, скрывшийся от врачей-убийц, никем не uznанный, переодетый, в ожидании своего часа, жив и работает подметальщиком в Мавзолее. Это был Геловани.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

XXV Человек-призрак

15 апреля 1955

Почеши в затылке, приятель, признайся: когда думаешь о событиях, именуемых судьбоносными, о войне народов, об отечестве лагерей, ты кажешься себе плохим патриотом, тебя не оставляет холодная, безнадежная мысль. Охватывает злое, обывательское, подозрительное чувство, что *они* хотят тебя погубить, сгноить и только и ждут удобного случая, что *им* это ничего не стоит. Кто же эти «они»? Им нет имени. Таково твоё чувство Истории.

Ты её раб, ты не ведаешь, кому и чему ты служишь, ты мобилизован на какое-то изнурительное строительство, за которым последует разрушение, и новое строительство, и снова развал, и так без конца, — а меж тем биотоки мозга, биение сердца, таинственная озабоченность желёз внутренней секреции ткнут твою душу, и она покидает тленный субстрат, чтобы взвиться над миром и соединиться с душами других людей, — что для неё войны и перевороты?

Человек сотворил этого Голема для того, чтобы Голем расправился с ним. Человек откармливает историю, чтобы злобное животное принялось затем по кускам пожирать человека. Надо сопротивляться. Надо сопротивляться! Хотя бы это было то же, что сопротивляться вращению Земли. Постарайся же уцелеть — вот в чём твоё единственное достоинство. Выжить — единственная форма сопротивления. С точки зрения истории твоя жизнь значит не больше, чем жизнь дерева в тайге. Лагерные электропилы валят деревья одно за другим. Топоры обрубают верхушки и ветви, корилки сдирают кору. Бывшие артиллерийские, выбракованные и срезанные на край света лошади из последних сил выволакивают нагие стволы с делянок на лесосклады. Зелёный убор сгорает на кострах. Остаются кладбища пней и поля чёрного праха.

Ясным утром, в шестом часу московского времени, мимо вагонов только что прибывшего экспресса, мимо потного и отдувающегося локомотива, в толпе усталых пассажиров брёл, таща за полуоторванную ручку перевязанный верёвкой деревянный чемодан, приезжий из дальних мест.

Милиционер, скучавший у входа в пассажирский зал, издали наколол его опытным взглядом, подождал, когда тот приблизится, поманил пальцем.

«Ваши документы».

Мы уже знаем, что это означало, но путешественник не имел паспорта. Путешественник извлек из глубин своего одеяния сложенный вчетверо листок. Сержант развернул справку, посмотрел на приезжего, на фотографию и снова на приезжего, оглядел его с головы до ног, от буро-рыжих валенок до шапки-ушанки с оттопыренным козырьком рыбьего меха, и повёл за собой в дежурную комнату.

В чемодане оказались книги. Это по-каковски же будет, спросил сержант с некоторым разочарованием, встряхнул и полистал наугад две-три книжки. По-французски, робко сказал приезжий, и дежурный, поколебавшись, кивнул и махнул рукой: дескать, проваливай. Пассажир следовал по месту назначения, указанному в документе, от столицы сто километров с гаком, конечная остановка пригородных поездов, ну и шагай куда положено, на другую платформу; путешественник так и сделал. Но, спустившись вниз по лестнице подземного перехода, помедлил, вернулся назад и, оглядевшись, поспешил к выходу на вокзальную площадь.

Некогда император Карл Пятый похвалялся тем, что над его владениями не заходит солнце. Писатель имел счастье жить в стране столь обширной, что и над ней, как над империей Карла, не заходило солнце; только это было ночное солнце.

Ночь спешила навстречу, покуда на плохо смазанных, визжащих колёсах вагоны континентальных поездов везли его, громыхая на стыках.

Не оглядываться! Превратишься в соляной столп. Громыхнул засов, и, выйдя из проходной, с чемоданом на плече, по знакомой дороге он двинулся к станции. Раз в сутки отправлялся на юг по местной узкоколейной дороге поезд, состоявший из двух трофейных пассажирских вагонов для военнослужащих и вольнонаёмных и полудюжины теплушек для контингента. В тамбуре, где сидит конвой, топится железная печурка, отсюда и название. В самом же вагоне, запахнувшись поплотней в ватные рубища, слипшись в неразличимую массу, сидит на полу, клацает зубами контингент. Арестант, всё ещё арестант, всю ночь ехал до комендантской столицы, единственного населённого пункта, который можно было найти на картах этого края. Сутки заняло оформление вышеупомянутой справки. У него спросили: куда едешь? Он ответил. Ему сказали: туда нельзя. Он это знал заранее и назвал городок за сто первым километром, ему выдали билет.

Подошёл поезд из Котласа, пассажир спал, качаясь на багажной полке под потолком, подложив под голову чемодан. В Горьком толпа, штурмом бравшая вагон на Москву, едва не сбила его с ног. Он смотрел на них: это были свободные люди. Провёл ночь на вокзале и ещё одну в вагоне.

Под нежно-розовым, перламутровым небом пустынная привокзальная площадь отсвечивала тусклым металлическим блеском, блестели, как слюда, окна домов, розовели лужи, ночью прошёл дождь. Путешественник вспотел в ватных доспехах и дрожал от холода в непросохших валенках. Время от времени он чувствовал себя персонажем чьего-то сна. В этом сне он стоял на кромке тротуара, не решаясь приблизиться к веренице машин с кубиками на бортах. Таксист презрительно косился на его одеяние. Приезжий протянул смятую трёшку.

Он высадился в переулке напротив чехословацкого посольства, брёл в своих валенках, оставляя на тротуаре влажные следы. Ничего не изменилось в подъезде дома, построенного бароном Терентием Карловичем Тарнкаппе. Всё те же три истёртые ногами поколений каменные ступени, и по-прежнему из окна наверху, между маршами лестницы, сочится призрачный свет. Сто лет назад нужно было подпрыгнуть, держа наготове палочку, чтобы ею достать до кнопки звонка. Он надавливает на пуговку и слышит робкое треньканье звонка в коридоре. Тишина, бесконечно тянущееся время, незванный гость нажимает ещё раз. Наконец, шаги, чужой женский голос. Я, сказал путешественник. Там не расслышали; голос повторил: кто там? Дверь приоткрылась, насколько позволяла цепочка. Он увидел бледное лицо, встрёпанные волосы, блестящие заспанные глаза, женщина стояла в халате поверх длинной ночной рубашки.

«Ты?!» – произнесла она наконец. Гость кивнул, пожал плечами.

Спohватившись, она захлопнула дверь, несколько времени длилась тишина, звякнула цепочка, дверь открылась, – ш-ш, прошептала она, приложив палец к губам, теперь плотно запахнутый халат был перетянут пояском. Писатель подумал, что она не одна. Как ни удивительно, она его узнала. Тусклая лампочка освещает коридор, справа от входа висит счётчик Сименса-Шуккерта, в квартире все спят, и сундук по-прежнему загородил дорогу. Те же золотистые, почти рыжие глаза; в первые минуты ему кажется, что племянница ничуть не изменилась. Она открыла дверь, пропуская в комнату гостя.

Но в ушах звучит не ее голос, а причитанья Анны Яковлевны, кашель из-под одеяла, и тотчас происходит *это*, в комнате появляется девушка.

В комнату входит племянница, вернее, внучатая племянница, забежала на полпути; та самая, о которой ночью говорил отец; та, что стоит спиной к окну, и волосы окружают светящимся нимбом её лицо, погружённое в сумрак. Кажется, она собиралась стать актрисой, какую же пьесу вы ставите, спросила Анна Яковлевна.

«Твоя мама в больнице, – сказала племянница. – Уже третий месяц».

Странник стянул ушанку с остриженной головы. В комнате было полутемно, широкое трёхстворчатое окно выходило во двор. Комод на прежнем месте, но картина в роскошной облупившейся раме, нагая девушка в бокале, исчезла, нет иконы, не стало фотографий, и к запаху пыли и старины примешивается душно-сладковатый аромат женщины. Под халатом дышало и двигалось её тело. Рассвет затушеввал черты её лица. На диване – но это уже не тот диван, без спинки, на которую так удобно было опираться, – на раскладном диванном ложе скомканное одеяло, подушка с вмятиной от головы; одна подушка, отметил он. Туалетный столик, заставленный баночками, флакончиками, заваленный безделушками. Новые вещи вперемешку со старой рухлядью. Слева от двери на плечиках, занавешенные простыней, висели её платья.

Писатель попросил разрешения оставить в комнате чемодан с книгами.

«В какой больнице?» – спросил он.

Она оглядела его, качая головой: «Тебя, в таком виде...» – ватное рубище, буро-рыжие, расширяющиеся книзу валенки на толстых подшивках. К тому же она не знала, где эта больница, надо сходить в поликлинику.

А комната, спросил он, что с комнатой.

Длинная, как пенал, комната родителей, откуда бежал он в ту далёкую ночь, и мать провожала его на вокзал, и далее потянулась вереница дней, почти уже нереальных, волосатый мужик, и жизнь на заимке, и жаркое тело Клавы, время, остановившееся на время, застрявшее, как он, пока не подъехал к полуразрушенным воротам милицейский фургон, чёрная шинель вошла и растолкала его.

Пили чай. Житель потустороннего мира был благодарен Валентине за то, что она не интересуется, не спрашивает ни о чём. Он понял, это был род неписаного этикета. Где был, откуда явился – никаких вопросов. И слава Богу. Писатель сказал, что ему нужно ехать в N, подыскать жильё, получить паспорт, прописаться. Она кивала, словно всё, что он говорил, разумелось само собой и всё, о чём он мог бы рассказать, было и без того известно.

XXVI Философия паспортного режима

10 мая 1955

Похоже, что никто больше не интересуется сочинителем этой хроники. Его оставили в покое – надолго ли? Бывший узник, – впрочем, что за выражение, слово, никогда не употребляемое нашим братом, подобно тому как солдат никогда не скажет о себе: воин, – пошлая риторика журналистов, – как же тебя наименовать? – некто *бывший* обретается на окраине населённого пункта, который не назовёшь ни городом, ни деревней, живёт у полубезумной хозяйки, в комнатке с низким окошком, щелястым полом, с топчаном, на котором лежит соломенный тюфяк, какая-никакая простыня, одеяло, подушка; ты сидишь или, лучше сказать, восседаешь за дощатым столом под свисающей с потолка лампочкой, наслаждаясь покоем и одиночеством, в том особом, ни с чём не сравнимом состоянии человека, который знает, что никто не погонит его на работу.

Жидкое солнышко, косясь, заглядывает в твоё жильё, ты спал сколько было душе угодно, встал, не заботясь о времени, с восхитительным сознанием, что можно было и не вставать; сегодня воскресенье, но и это не имеет значения, для нас теперь каждый день воскресенье. О-о, какое блаженство не работать, мечта миллионов. Время, похожее на время юности, когда его так много, что о нём не стоит жалеть.

Право же, если кто-нибудь ещё верит в светлое будущее, то потому, что представляет себе коммунизм как царство, где никто не работает.

На досуге продолжим наши размышления об истории. Тот, кто некогда написал замечательные слова: *есть великая славянская мечта о прекращении истории*, не представлял себе, насколько он прав.

Мечта осуществилась. Это было нечто новое: образовались лакуны, и в них провалилась история. Государство стало похожим на дырявый сыр. Но ненадолго: как растёт плесень в сыре, так и в этих пустотах выросла новая цивилизация. Ожила и двинулась своим путём псевдоистория. Вот и толкуйте после этого, что география не имеет значения; лагерная цивилизация не могла бы расцвести в иных географических пределах. Страна, посрамившая империю Карла V, держава, размеры которой превосходили воображение, была словно создана для того, чтобы сделаться обетованной землёй каторжного труда. И труд преобразил страну. Круг замкнулся – эта цивилизация вернулась в лоно истории. Но теперь стало невозможно разгадывать историю и судьбу страны, храня молчание о главном: о лагерях.

Но довольно об этом. Дело сделано. Паспорт лежит на столе. Читайте, завидуйте, как некогда пел поэт. Вольноотпущенник размышляет о тайне серой дермантиновой книжечки. Так аскет-пустынный погружается в созерцание Распятого.

Прямо скажем: насколько проще, понятней, – он чуть было не подумал, честнее, – была его справка с физиономией выходца из лесов. Там, по крайней мере, всё было ясно, там стоит чёрным по белому, женским почерком барышни-делопроизводительницы спецотдела: статья, срок, где отбывал. Там расставлены красные флажки. Обозначено силовое поле документа. *Видом на жительство не служит. При утере не возобновляется.*

Между тем как власть и могущество паспорта состоит в том, что пределы этой власти неизвестны.

Могущество постановлений заключается в их секретности. Мина, скрытая под дермантиновым переплётом, необстрелянному взгляду не видна. Но ты-то знаешь, где она зарыта: на второй страничке. Графа *На основании каких документов выдан паспорт*. Там, где рукою другой барышни вписано: *На основании справки БО № 0004458 и Положения о паспортах*. Синяя татуировка раба. Стигма государственной неполноценности.

Никто никогда не видел это Положение, и не увидит. Но это и не требуется. Существует версия – порхает слух, – что таинственное Положение вовсе не существует. Важно не Положение, а упоминание о нём.

Человек без паспорта как бы уже вовсе не человек, его имя ничем не подтверждено, его происхождение никак не удостоверено, у него нет возраста, нет профессии, нет национальности, нет даже пола: он никто, вот он кто. Отсутствие паспорта не может быть восполнено другими бумагами – справками, удостоверениями, дипломами, аттестатами; напротив, делает обладание ими подозрительным и преступным. Невозможно и поселиться где бы то ни было, ибо нет документа, на котором можно оттиснуть соответствующий штамп. Могущество паспорта даёт себя знать в полной мере, когда паспорт отсутствует.

Однако паспорт паспорту рознь. Когда-то нужно было скрывать незаконнорожденность, марающий честь поступок, разорительные долги или дурную болезнь. Теперь надо скрывать пометку в паспорте. Она как глубоко в теле созревший гнойник, от которого время от времени сотрясают приступы лихорадки, но удалить его невозможно.

Сердце паспорта – его номер; венец всей длинной череды номеров, под которыми ты числишься в папках и картотеках различных ведомств. Государство шифров, империя номеров. Писатель спросил себя, когда это началось. Уже сто лет назад можно было сидеть, как Герман, в 17 номере Обуховской больницы,

носить на фуражке номер полка, одалживать у Федосей Федосеича дельце за № 368. Когда же мы окончательно запутались в цифровых тенетах? Номер метрического свидетельства, номер военного билета, номер ордера на арест, номер камеры, номер следственного дела, номер оперативного дела, номер и шифр комендантского лагпункта, шифр и номер справки об освобождении. Но не может быть, чтобы буквы и нумерации существовали сами по себе. Должен быть верховный номер. Это и есть номер паспорта.

Мысли пронесутся мимо, как мусор на ветру; ты покоен, ты счастлив.

XXVII Соты вечного успокоения.

22 июня 1955

Опять-таки не назовёшь улицей просёлок, ещё не просохший после дождей; громыхающий грузовик обдаёт прохожего грязью. На вокзале безлюдно. В гремящем полупустом вагоне сочинитель сидит у окна, ждёт, когда войдут контролёры, войдёт добровольный патруль, войдёт милиционер. В толпе пассажиров, неузнанный, не разоблачённый, он шагает по перрону Ярославского вокзала, сегодня, кстати, началась война. Он шествует по перрону, он семенит, догоняя мать, кругом колышется человеческое желе, в суматохе поспешной эвакуации, с баулами, с чемоданами, с швейной машиной они не могут отыскать свой вагон, теряют и нагоняют друг друга. Они стояли в просвете забитого людьми и вещами пульмана, ждали, искали глазами отца, и вот он протискивается, он успел прийти попроситься. Но разговаривать невозможно, отец машет рукой. Гремят репродукторы. Над толпой, штурмующей поезда, раскатился хищно-радостный баритон. *Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...* Могучий хор. Ансамбль красноармейской песни и пляски. *Вылетают кони шляхом каменистым. Встретим мы по-сталински врага.* Солнце палит с небес, лето в разгаре. Какие там кони. Говорят, уже сдали Смоленск, моторизованное полчище катится к Москве, как океанский вал. *Не скосить нас саблей острой.* Где эти сабли... Отец стоит у вагона. Завтра скороспелое войско, именуемое народным ополчением, как во времена гражданина Минина и князя Пожарского, выступит в поход, через два месяца от этого ополчения ничего не останется.

Писатель... — но по какому праву ты величаешь себя писателем, не оттого ли, что история, как кто-то сказал, есть род литературы и, собственно, становится историей лишь после того, как она написана кем-то; не потому ли ты лезешь в писатели, что биография, подобно истории, начинается на бумаге, станет биографией лишь при условии, что твоя жизнь станет литературой? — писатель едет по узким ветвящимся переулкам и думает о том, что его жизнь — единственный материал, которым можно склеить распавшееся время. Соблазнительная идея. Трамвай выворачивает на главную улицу. А там уже показались башни и луковицы, он шагает вдоль крепостной стены, мимо пышно распусившихся деревьев, огромный монастырь нависает над ним из-за кирпичной ограды, снизу кажутся приплюснутыми его почерневшие главы. Поодаль высокая прямоугольная труба крематория и контора. Секретарь смерти протянул руку — где ваш паспорт, как же иначе, и с привычным трепетом посетитель извлекает новенький, в серых корочках, волчий билет. Человек-лемур нацепляет очки, разворачивает книгу судеб, слюнит палец, листает страницы, водит пальцем по строчкам.

Двадцать восьмой колумбарий. Сто тысяч тонн бананов из Колумбии. Сколько-то времени провести перед табличкой, где стоят две даты и пустой овал дожидается фотографии матери. Вспомнить фантики, марки, комнату-пенал, древнее пианино, портьеру, отгородившую кровать родителей. Бедные, они даже не знали,

где находится эта Колумбия. Теперь дальше. Мимо окошек с засохшими цветами, откуда выглядывают детские, юные, старые лица, с датами, с почернелыми буквами, – двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый – и ещё один, и ещё: вот он! Халдеи знали, пифагорейцы знали, мир построен из предвечных чисел. Под каким числом нам предписано покоиться в узком сосуде, за дощечкой поддельного мрамора? Не одному тебе знакомое, странно тревожащее чувство неживой жизни, которая обитает здесь, существует, не существуя, подглядывает, подслушивает, прячется там, среди кустов и холмиков по другую сторону аллеи.

Кое-где выпали таблички, в тесных нишах стоят почернелые вазы, и вот оно, наконец, в мутном овале уже покусанного алмазным зубом времени медальона жалкое, улыбающееся лицо Анны Яковлевны Тарнкаппе. Крест и надпись... ты читаешь дату её ухода. Ты стараешься вспомнить, отыскать этот день, как песчинку в песке. Где ты был, Адам? Что ты делал в тот день, что с тобой делали? Почуялось ли тебе, что за тысячу вёрст, в переулке у Красных Ворот, в комнате-келье с фотографиями, комодом, диваном, источающим запах её папирос, в эту минуту закрылись её глаза? Чтобы потом открыть их уже здесь, на фаянсовом медальоне. Умерла ли она на своём диване или за ней тоже пришли? Смерть приезжает ночью в машине, входит в подъезд, цокает подковками по ступеням, истоптанным ногами поколений. Слава Богу, этого не случилось, ведь тогда она не очутилась бы здесь. Не было бы никакого медальона, и вообще оказалось бы, что никакой Анны Яковлевны никогда не существовало. Писатель бредёт по пустынной аллее, перед ним бежит его короткая тень, слева стена колумбария, справа грибницы крестов и надгробий. Не дойдя до ворот, оборачивается.

Он сощурился от спящего света, там кто-то стоит, новые посетители. Приставил руку к глазам: две женщины, старая и молодая, у Анны Яковлевны в гостях. Если не она сама собственной персоной. Помедлив, он возвращается.

Она сидит на скамейке.

«Представь себе, мне показалось...»

«Что показалось?»

«Что ты стоишь с Анной Яковлевной!»

Валентина оглядывает писателя. Совсем другое дело, теперь у него человеческий вид. Где ты живёшь? Зашёл бы хоть раз. Он пожал плечами. Работаете? Писатель покачал головой, никуда не принимают. (Он особенно и не старался. Встаёт вопрос, на что он живёт). Тишина, они сидят против 33-го отсека, и жизнь, вечная неживая жизнь витает вокруг, прячется в листве. Не хочется ехать на вокзал, возвращаться в пустое жильё из этого солнечного царства. Помнишь, проговорил он, как ты однажды пришла, Анна Яковлевна болела. Ты стояла у окна, спиной к свету, и волосы светились, как нимб.

Нет, она не помнит.

«Ты училась в театральной студии».

«Было дело».

«А даму в бокале помнишь?»

«В бокале? Какую даму?»

«Картину».

«А-а, хи-хи...»

«Куда она делась?»

Она пожимает плечами, покачивает кудрями.

«Твой портрет».

«Скажешь ещё».

«Я это понял, – сказал писатель, – когда ты ушла».

«Но она же голая. Сколько тебе было лет?»

«Я смотрел на картину другими глазами. Я не видел наготы. Можешь мне поверить, – он усмехнулся, – я смотрел на неё и видел тебя. Давно было дело».

«Давно».

Ещё посидели; он спросил: а доктора Каценеленбогена она помнит?

Доктора помнит: толстый такой. Он ещё на неё заглядывался.

«Тоже, наверное, где-нибудь здесь».

Оба смотрят туда, где чернеет, белеет, улыбается медальон.

«Ты её любила?»

«Не знаю; не очень».

(Спрашивается, почему же она пришла).

«А она тебя?»

«Я думаю, — сказала племянница, — она была ведьма».

«Она была, — возразил писатель, — как бы это сказать... — и попытался восполнить недостаток слов слабым кивком, неопределённым мановеньем руки. — Одним словом...»

(Он знает, что Анна Яковлевна принадлежала к породе людей, вокруг которых совершаются чудеса. Это свойство она отчасти передала ему).

Ещё немного побыть перед тридцать третьим колумбарием.

Ей, однако, пора.

«Заходи, — сказала она, поднимаясь, — буду рада».

Писатель смотрит ей вслед. Блузка, под которой просвечивают бретельки бюстгальтера, тесная юбка, сужающаяся книзу, подрагивающие бёдра, мелко, быстро шагающие ноги в модных золотистых чулках.

XXVIII Сатурн

15 августа 1955

1

Назад, назад, моя история, к началу времен... Трижды бородатый Ной выпускал голубя из ковчега, и на третий раз не вернулся голубь. Вода сошла, сыновья разделили землю. Симу достался восток, Хаму — юг. Иафет же, самый младший, получил во владение ночные страны; там и осела славянская Русь вперемежку с разными племенами: чудью, мерей, муромой, весью, мордвой, печерой и прочими, до самого Варяжского моря.

И было земли немерено, таёжных лесов, болот, рек и пустошей глазом не охватишь, дикого зверя и рыбы — невпроворот, и всё это поделили между собой конунги и князья. Каждый правил из своей деревянной крепости, нанимал и кормил дружину, оружейников, сборщиков дани и прочих нужных людей, а кругом расселился народ: кто промышлял рыбной ловлей, кто охотился на зверя, кто сводил тайгу и распахивал землю, кто побирався и грабил на лесных дорогах. Поклонялись богам: Перуну — будущему Илье-пророку, Велесу — святому Власию, Яриле, который стал святым Юрием, и приносили жертвы плодами, телятами и людьми. Так понемногу основалось наше отечество.

Новые владельцы пришли на смену старым, и раздвинулись границы могущественных княжеств, народишко между тем редел, хирел и вырождался, и пришлось завозить новых людей для работы. Не было больше ни чуди, ни мери, а был единый великий народ, называемый контингентом.

2

Великие открытия часто обгоняют своё время. Так произошло с изобретением колючей проволоки. Родина колючей проволоки, как считают, экзотический остров

Куба, по другим сведениям – Трансвааль: англичане во время войны с бурами сгоняли население в концентрационные лагеря. Однако в то время колючая проволока, крупнейшее техническое достижение нашей эпохи, ещё не нашла широкого применения.

Проволока из углеродистой стали, толщиной от 8 до 10 мм, изготавливается горячей прокаткой и волочением. Готовая продукция поставляется заказчику в виде мотков длиной до тысячи метров. Основным элементом проволоки является насадка, именуемая также бабочкой или касатиком. Устройство касатика вкратце может быть описано так: он состоит из двух отрезков проволоки с заострёнными концами, плотно намотанных на основной провод навстречу друг другу, так, чтобы концы длиной до 30 мм оставались свободными и торчали наружу. Различают два верхних конца, левый и правый, и соответственно два нижних. Касатики расположены на расстоянии 80 мм друг от друга. При необходимости по проволоке может быть пропущен ток.

Наружное ограждение из колючей проволоки в десять рядов протягивается между столбами, вбитыми в грунт через каждые пять метров, и дополнительно укрепляется двумя диагональными нитями. Внутреннее ограждение состоит из 5-7 нитей, которые крепятся на наклонных рейках над тыном, окружающим зону. На концах реек находятся лампы, образующие так называемое осветительное кольцо.

Необычайная ценность колючей проволоки доказана многолетней практикой её использования во всех климатических зонах. Колючая проволока вошла как обязательный поэтический элемент в лагерную мифологию и фольклор, воспета лагерными стихотворцами, упоминается в былинах и преданиях.

3

Часто бывает так, что новому изобретению дают старинное название. Польское *lary* известно с конца XVI столетия. Невозможно с точностью сказать, когда оно перекочевало в наш язык, где превратилось в термин; важно отметить, что, введённые в общенациональный обиход, нары представляют собой вполне современное сооружение, отнюдь не напоминая о старине. По имеющимся данным, нарами пользуются от 30 до 70 процентов населения страны. Но, в отличие от колючей проволоки, нары поставляют в готовом виде местная промышленность. Соответственно и породы дерева, из которых изготавливаются нары, могут быть различными в разных регионах. В лагерях, колониях и родственных им учреждениях средней полосы на постройку нар идёт сосна, в Заполярье и на островах Северного Ледовитого океана – карликовая сосна, в Южной Сибири, на Дальнем Востоке и в ряде других районов – берёза, ель, пихта, лиственные породы. Использование искусственных материалов, а также спрессованных опилок, переработанного камыша и пр. для строительства нар себя не оправдало.

Различают два основных вида нар: сплошные, чаще используемые в тюрьмах, и двухэтажные – лагерные; ради экономии места здесь речь будет идти о втором виде нар, называемых вагонными (за пределами нашего описания остаются также редко применяемые трёхэтажные нары и земляночные полуярусные нары).

Нарокомплекс конструкции инженера, лауреата Сталинской премии Дымогарова (дымогаровская вагонка) состоит из четырёх лежащих мест – двух верхних и двух нижних. Места на нарах занимают по обычным правилам лагерной иерархии: почётными считаются нижние этажи. Возможно также использование мест под нарами.

Нары состоят из вертикальных брусьев с приступочкой для влезания на верхний этаж и дощатых настилов с подголовниками. На настил укладывается плоский матрас, набитый тряпками, на подголовник – тряпчатая подушка. С наружной

стороны лежащее место ограждено невысокой доской для предохранения спящего от падения. Фанерная бирка с фамилией, статьёй и сроком прибавляется к ножному краю.

Хотя нары представляют собой горизонтальное устройство, ошибочно думать, что на нарах только спят. На них лежат, сидят, принимают пищу, выясняют взаимоотношения, играют в самодельные карты, прячут разнообразное имущество и так далее. На нарах *живут*.

4

Век стоит на раскоряченных лапах, слепой динозавр. Радуйся, о, радуйся забывчивости начальства. Ветер перемен утих. Благослови этот соломенный тюфяк, эти первые времена, шаги на воле, подобные первым шагам младенца. Ты живёшь двойной жизнью. Книжки лежат на столе, и в комнату просочилась луна.

Если бы (говорит Паскаль) сапожник каждую ночь видел во сне, что он король, он был бы не менее счастлив, чем король, которому еженощно снилось бы, что на самом деле он сапожник. Если во тьме тебя обступают лесные и болотистые края, а утром, проснувшись, видишь себя лежащим на тюфяке в комнате у хозяйки, то что это, собственно, значит: *на самом деле?* Два сна, два зеркала лицом друг к другу, и в одном отразилось одно, в другом другое; и во сне ты пробуждаешься от сна и вспоминаешь о возвращении, как вспоминают сон; на самом деле ты там, и ничего не изменилось. И всё так же сбивается с ног конвой, торопясь в казарму, спешит изо всех сил крысиное шествие серых бушлатов по шпалам, торопясь из рабочего оцепления в зону. Все так же подавальщики в столовой, с тремя этажами оловянных мисок на деревянных подносах, выкрикивают зычными голосами номера бригад, и тридцать глоток за длинным дощатым столом, от которого пахнет кислыми тряпками, орут: «Сюда!», тридцать рук зачёрпывают жидкую перловку, облизывают ложку и запихивают в валенок. Всё так же вдоль стен стоят с провалившимися лицами мисколизы, хватают миску из рук, допить, долизать остаток. Назавтра снова в предутренней тьме ты выходишь с бригадой из ворот, полукругом, хищно зевая, сидят на поджарых задах овчарки, ты расстёгиваешь бушлат, чтобы дать себя обыскать, обхлопать, облапать под мышками и между ног, ты стоишь в строю, ждешь хриплый возглас, команду конвоя, шагаешь в колонне по шпалам одноколейки.

Узка загигающая насыпь, слишком короткое расстояние для мужского шага, если со шпалы на шпалу, слишком большое, если перешагивать через шпалу. Колонна по четыре в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, опустив головы в рыбьих ушанках, глядя под ноги, чтобы не споткнуться; впереди конвой, два стрелца с автоматами поперёк груди, – шире шаг! – позади конвой, замыкающая пара, поспешает, чтоб не отстать, а вокруг тонут в морозном тумане заснеженные поля скованных льдом болот, остатки штабелей под сизыми шапками снега, поломанные куртины, лиловые небеса. И медленно зреет рассвет.

XXIX Любовь

1955 или, что то же самое, 1952

...И, как бывало уже не раз, без повода, будто бы ни с того ни с сего, но на самом деле в силу тайного сцепления вещей, вспомнилась изумительная красота Вселенной, открылся мерцающий каплями ртути небесный ковш рукояткой вниз, направо в пустыне звёзд крупным бриллиантом сверкал Юпитер, левой и выше переливался голубоватый Сириус. Это было всё, что он мог назвать и опознать,

да ещё скромная Полярная звезда в вышине и семеро сестёр – Плеяды. Невдалеке темнела казарма, ближе к зоне располагались службы, магазин для вольнонаёмных, сарай пожарной охраны. И, наконец, зона: с угловой вышки вдоль увешанного лампочками тына, вдоль запретной полосы, по рядам колючей проволоки бил прожектор. Сторож в ватном бушлате, в растоптанных валенках, в каком-то тряпье вокруг шеи и на остриженной наголо голове, в ушанке с завязанными ушами расхаживал перед магазином, останавливался, задрал голову, оглядывал звёздную россыпь, хлопал себя по бокам, бил одна о другую ноги в негреющих валенках, изрыгал морозный пар. Сторож был бесконвойным, *малосрочником*, отсидевшим две трети срока, большинство же имело четвертной – двадцать пять и пять *по рогам*. Было около полуночи. Он научился угадывать время без часов. Он шагал, отходя всё дальше от магазина, возвращался, вновь отдалялся, чутко прислушивался, приглядывался. Вдалеке на угловой вышке спал стоя перед своим пулемётом караульный солдат-попка, огненный глаз прожектора струил свой луч поверх древнерусского тына. Донеслось нежное позванивание, побрякивание кольца на проволоке, овчарка, трусившая по ту сторону тына, остановилась – сторож тихо пощёлкивал языком – она узнала его и молча потрусилась обратно. Сторож постоял, подумал и двинулся, сперва медленно, потом всё быстрее и уверенней, скрипя валенками, обогнул казарму и погрузился в ночь. По глухой, еле видной во тьме таёжной дороге он шагал, не сбиваясь с пути, стало жарко от быстрой ходьбы, он расстегнул бушлат, развязал и стащил с головы ушанку – холодный пар окутал лоб и взмокший платок на голове. Он снова нахлобучил ушанку. Так прошло, может быть, полчаса, лес расступился. Путник съехал в овраг с оледеневшим ручьём под ковром снегов. За оврагом находилась деревня, полтора десятка угластых крыш; нигде ни огонька.

Ты взошёл на крыльцо, стряхнул с себя снег, оттопал с валенок. Никто не отозвался на тихий стук в дверь; тайный гость спрыгнул с крыльца, пробрался к окошку, немного погодя брякнул засов. Блестя во тьме заспанными глазами, женщина стояла, дрожа от холода, босая, в деревянной ночной рубахе, накинув на голову платок. Из сеней вступили в жарко натопленную избу, Маша чиркнула спичкой, коптилка стояла на столе, в заиндевевших окошках отразились их лица. Смуглый лик Богородицы в жестяном окладе метал тусклые отсветы, большая почерневшая печь отгородила горницу от кухни, на полатах спали дети, мальчик и девочка, в углу под иконой стояла деревянная кровать. Висела одежда на гвоздях, висели фотографии между окнами и плакат «Все на выборы», постукивал маятник размалёванных ходиков. Гость запасся гостинцем, бережно извлёк приношение из кармана в подкладке бушлата. Кровать ждала их. Долгая ночь оберегала до рассвета.

И медленно вращался вокруг неподвижной точки небесный купол, сиял Юпитер, медлила показаться голубая Венера, подкрадывался невидимый глазу Сатурн, планета-покровительница концлагерей. И, уже возвращаясь (было всё ещё темно), спеша по невидимой дороге, он услышал марширующие сапоги, увидел впереди две тёмных фигуры, это шагали навстречу два солдата; глядя под ноги, он прошёл мимо них. Они не сказали ни слова, не остановились, это был молчаливый сговор невольников. К кому они шли: к ней? Нет, разумеется; вся деревня – десяток баб – обслуживала казарму.

И оттого, что ты знал – она спит, утомлённая, запершись на все засовы, – невозможная мысль пришла тебе в голову: что всё, что с тобою случилось, было лишь предварением, было подстроено судьбой, чтобы в конце концов ты очутился в этом краю, под лиловым лучом окольцованной планеты лагерей, чтобы с риском быть пойманным брёл по лесной дороге, входил в тёплую избу и видел в полутьме блестящие глаза, обнимал сильное, жаркое тело, чтобы, изнемогая от счастья, понял, что всё – прах и тлен в сравнении с этой встречей.

Ты – или это был кто-то другой? – спросил писатель, поворачиваясь на своём ложе, и не мог найти ответа.

**XXX У того, кто раньше умрёт, останется больше времени
побыть среди мёртвых**

1952, 1953

1

И вновь завершился круг, один из тех, подобных планетным орбитам, кругов его жизни, и уже невозможно было припомнить, как, когда он потерял Машу из виду; словно деревню окончательно погребло под снегом; но, как и прежде, старому лагернику не надо было вставать со всеми в утренней тьме, когда нарядчик стучит по нарам своей доской, на которой расписаны бригады и сколько народишку выходит к воротам. В этот час ты возвращался, предвкушая сладкий сон в опустевшей секции, зато вечером, когда барак наполнялся усталыми и возбуждёнными работягами, ты приступал к сборам, влезал в ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал тряпкой, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал шапку, надевал бушлат и запасался латаными мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках ты стоял перед вахтой. Гремел засов, ты выходил, предъявив пропуск бесконвойного. По тропе в снегу брёл до угловой вышки, сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева, между сугробами находилась площадка, усыпанная щепками и корьём, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Сквозь ртутное мерцание звёзд, без устали грохоча, дымя плотным белым дымом, шёл вперёд без огней и флагов опушённый снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров.

Всю ночь свет горел в зоне на столбах и бараках, в посёлке, в казарме, в пожарном депо. Ток подавался на кольцо. Всё могло выйти из строя, но венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не смели померкнуть ни при какой погоде. Дровокол принимался за дело. Расчистить рельсы для вагонетки, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь – по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Становилось жарко, он сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, он довёз её до сарая, толкнулся в створы низкого входа, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, полуголый гляцевый кочегар висел грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Звонят с вахты – дежурный ругается. Кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол вывалил в сарае содержимое вагонетки. Проснись, приятель, – это был ты.

Или, вернее, тот, Другой, был тобою в тот год, нескончаемый, как год на Сатурне. В стране, где солнце – лиловой звездой, в те дни и ночи, когда в смутных известиях, нёсшихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в ночных толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате крепла уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют, что повсеместно паспорта заменены формулярами, одежда – бушла-

том и вислыми ватными штанами, человеческая речь – доисторическим матом, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный год; когда рассказывали о том, как старичок Председатель Верховного Совета, в очках и в бороде клинышком, крестьянский сын, народный староста, едри его в корень, лишь только доложат, что прибыл состав, канает на Курский вокзал, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружённых помилловками, то есть просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом наискосок, на каждом вагоне – резолюцию: *Отк а з а т ь*, и состав, как был, восемьдесят вагонов, катит обратно; когда рассказывали и расписывали, как маршал государственной безопасности, в пенсне на мясистом рубильнике, в погонах, как доски, с животом горой, докладывает, сколько кубов напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к большим счётам наподобие тех, какие стоят в первом классе, перебрасывает костяшки, щурится: мало! *Пущай сидят*.

А то еще ходил достоверный рассказ про то, как один мужик забрался ночью в кабинет оперуполномоченного и спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил ему загадочной фразой: *Благо всех вместе выше, чем благо каждого*. Мужик не понял и спрашивает снова: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И Ус ему будто бы ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

2

Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая. Волоча кабель, поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше, выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Агрегат по-прежнему рокотал в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель – не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Колун завяз в полене, было плохо видно. Колун ждал, когда дровокол наклонится над ним, и дождался – вырвался и саданул дровокола обухом в лицо. Писатель полетел навзничь. Милость судьбы: нагнись он чуть ниже, он был бы убит.

Кочегар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Писатель сидел на снегу. Горячие красные сопля свисали у него изо рта и носа. Несколько времени погодя он доплёлся до зоны и утром получил в санчасти освобождение, но положенных дней не хватило, пришлось ехать на больничку, с замотанной физиономией, топать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли других, совсем уже немощных.

Лицо зажило, передние зубы были обломаны наполовину, и опять, невидимый, стоял над кромкой лесов мертвенно-бледный Сатурн. Новое приключение вторглось в ночные грёзы; вспомнилось, как бывает при слабом повороте калейдоскопа, любимой игрушки детства: сместились цветные стёклышки, явился другой узор, выстроилась другая картинка. Он был хозвозчиком.

После долгой дороги буханки плохо пропечённого хлеба, укрытые одеялом, пока он вез их для погрузколонны в 156-й квартал, потрескались, поломались, бригада с кулаками набросилась на возчика, расхватили куски, затем подошёл состав, с высоких штабелей на ветру грузчики в дымящихся от пота рубахах скапывали по лагам на платформы баланы авиасосны, шпальника, резонансной ели;

свисток паровоза возвестил об окончании смены, состав шёл в северную гавань, а там другие заключённые грузили лагерную продукцию на океанские пароходы – лес, всё ещё хранивший дурман тайги, плыл на волю, в чужие страны.

Возчик ночевал в опустевшем бараке, навалил на себя несколько одеял с соседних лежаков, не мог согреться; наутро, не дожидаясь рассвета, двинулся в обратный путь. Он чувствовал себя нездоровым, несколько раз останавливал лошадь, чтобы тут же, на дороге, спустить ватные штаны, и по возвращении едва успел распрячь, еле-еле успел добежать до барака.

Отхожее место представляло собой холодное полутёмное помещение в конце коридора между секциями; на дощатом помосте, на корточках, всегда кто-нибудь, кряхтя, справлял пахучую полужидкую нужду. Отдохнув немного, он слез с нар и поплёлся снова, вскоре дело дошло до того, что приходилось то и дело выбираться из секции, карабкаться на помост; казалось, он извергнет из себя весь кишечник, вместо этого вылетал кровавый плевок; так прошли день и ночь.

Назавтра он уже не вставал, спустя сутки, под вечер был отвезён на станцию, конвой стоял у колёс, те, кого вместе с писателем отправляли на больничку, втащили его в вагон. В третьем часу ночи – пол всё ещё качался под ним, колёса постукивали на стыках – писатель умер.

Так он попал на тот свет.

Светлым он не был, этот потусторонний мир, и состоял из одной комнаты, сумеречный свет сочился из двух окон, было холодно. Голый, как все, новичок дрожал на койке под тонким саваном. Слава Богу, прекратились спазмы, измученный кишечник обрёл покой. Исчезло время. Вошёл санитар, бородатый мужик в белом, талдычил что-то; наконец, дошло. Это был загробный мир заключённых, людей с похоронными формулярами вместо паспортов, и апостол Пётр, само собой, был тоже с формуляром. Пётр сказал, что не стоило так суетиться, и бояться не стоило, ибо здесь всё то же самое. Сроков здесь не бывает. О статье никто не спрашивает. Кто хлебал баланду там, будет жрать её и здесь. Кто сюда попал, никогда отсюда не выйдет. И к лучшему.

XXXI Жизнь – осколок бутылочного стекла под луной

Ещё сколько-то лет тому назад

1

Чтобы попасть внутрь, надо было пройти через стеклянную дверь, за которой клевал носом сторож-швейцар в шапке, надвинутой на брови, в пальто с крысиным воротником и валенках, олицетворение атараксии, этого идеала древних мудрецов; его не волновала ни погода, ни поэзия, он грезил о какой-нибудь зелёной речке на Смоленщине, где теперь оборванные женщины бродили между печными трубами сожжённой деревни, среди заростающих травой и бурьяном окопов и ключев ржавой колючей проволоки. В тёмной раздевалке стояли пустые вешалки – никто не раздевался; с двух сторон парадную лестницу сторожили колонны, выкрашенные под серый мрамор, – тому, кто не каждый день обедал и по большей части питался морковным чаем и хлебом, колонны эти напоминали ливерную колбасу или плёнку молока на остывающем кофе. Наверху, с площадки, где раздваивалась лестница, мраморный кумир в парике взирал на девочек и юнцов, сияло позолотой незабываемое: *Дерзайте, ныне ободренны, раченьем вашим показать...*

Удивительно, как до последних мелочей, с филигранной точностью всё это отпечатала полусонная бредящая память. Не поднимаясь, мимо аппетитных колонн поворачивали налево. В узком коридоре висели плакаты, объявления, пожелтелые

правила пожарной безопасности, кучками теснился народ, стихотворцы, кто в шинели с гражданскими пуговицами, кто в коротком полурубяческом пальтеце, глядя в одну точку, рубили кулаком, читали стихи. Другие смотрели вниз, сдвинув брови, расставив ноги, это были критики, готовые вынести приговор.

До войны было детство, смутная и нереальная пора, её стыдились, от неё открещивались, и, право, не было худшего оскорбления, чем напоминание о детстве; после войны остался голый мир, холодный и неудобный город, населённый поэтами; ничего не было важнее и нужнее стихов, все читали друг другу стихи, грезили о стихах, шатаясь по тусклым улицам, бормотали короткие строчки, похожие на обрубки конечностей. Сильные, но неясные ощущения, беспредметное вождение, с которым не знали что делать, искавшее на ком остановиться, и боль, исходящую непонятно откуда, и ожидание чего-то – всё это можно было выразить только в короткой фразе, на конце этой фразы болталась приблизительная рифма.

Длинные периоды казались порождением лицемерно-болтливому довоенного мира. Теперь над всем господствовала кованая строка. Чтение напоминало прыжки на костылях. Это был марш инвалидов. С кровавых полей – на Парнас. Короткая фраза выражала краткость прожитой жизни. В этой фразе, как огонёк в коптилке, жил образ, родившийся из удачно найденного слова. Здесь ценили метафору. Здесь можно было стать знаменитым благодаря единственному неожиданному образу, он был патентом на талант. Его хватало на целое стихотворение. Он заменял мысль.

Растворились двери, и народ ввалился в клубную комнату; как всегда, не хватает стульев. В углу у рояля поминутно поправляет очки девушка в звании секретаря, в пальто, съезжающем с узких плеч. Искрится в тусклом свете затканное изморозью полукруглое окошко под потолком. Меж тем по опустевшему коридору, в шубе, потёртой шапке и фетровых ботах шествует знаменитый поэт, старик с нависшими, загибающимися кверху, как усы, бровями. Расцепив крючки шубы, усаживается за стол.

Заседание клуба молодых поэтов началось.

2

Было что-то отрадное, утешавшее горечь, было оправдание длинной и бесполезной жизни старого виршеслагателя в этом собрании устремлённых на него блестящих глаз. Маленькая поэтесса, стоя у стола, лепетала о безответной любви, её сменил, отстранил двадцатилетний трубноголосый ветеран.

Эта молодёжь не могла себе представить, что можно жить в дальних воспоминаниях, как в мутно-светящемся водоёме, откуда внешний мир различим как бы в тумане.

Старик склонил бритый, лоснящийся череп, сдвинул усоподобные брови, застыл с сосредоточенно-недовольным выражением, как у настройщика перед расстроенным инструментом; слушал и не слушал. Он был усатым гимназистом в южном приморском городе, где чавкали арбузами, лузгали семечки и смахивали с губ шелуху, гуляя с барышнями по бульвару. Он ораторствовал на митинге, прятал под шинелью символическое красное полотнище, причёсывал пятернёй мокрые волосы, ссорился с отцом, заседал в комитетах, вдруг всё кончилось, он очутился в холодном северном городе, где ветер свистел по прямым пустынным улицам от реки, блестящей по ночам, как олово, и вдали на сумрачном небе рисовался собор и шпиль Петропавловской крепости. Он печатал свои стихи на обёрточной бумаге, жил с голодной подругой и близнецами в огромной пустой комнате с окнами на набережную, и сумрак дня сменяли вечерние сумерки, а к полуночи небо

разгоралось металлическим сиянием, и он вставал и подходил к окну, слагал стихи, пылал неугасимой верой и заседал на собраниях футуро-группы «Рёв Революции»; однажды к ним постучались, это была девушка-землячка без пристанища, на лестнице стоял её товарищ, жили коммуной, в большой комнате было две кровати, и когда родился ещё один ребёнок, оба, смеясь, объявили себя отцами. Никого не осталось в живых, уцелел он один.

3

Трудненько ему придётся, думал руководитель поэтической студии, прислушиваясь к декламации; это были совсем не те оды, что печатались в журналах, – злые и грубые, такие же, как их автор, который там, в местах, откуда он явился, выплёвывал из худого рта циничную брань и лихое отчаянье, и издёвку, как теперь он выплёвывал стихи. У поэта были маленькие, близко поставленные глаза, бесформенный нос, точно продавленный посередине чьим-то могучим кулаком, кадык танцевал на его гусиной шее, в углах рта пузырилась слюна. Он утирал её свободной рукой. Другая рука рубила воздух, над лбом подпрыгивал клочок волос, охрипшим голосом, напирая на «о», поэт кричал о варварской жизни в окопах, о беспросветном дожде, о подмокших сухарях, об атаке, о рукопашной схватке, а после – рубил он кулаком – мы хлестали ледяную водку и выковыривали засохшую кровь из-под ногтей, – и все взглянули на его руку, – и руководитель ещё гуще сдвинул брови, – и всё это, думал ты через много лет, лёжа на соломенном тюфяке, на окраине городка, о котором прежде даже не слышал, всё это нужно каким-то образом впустить в роман, не оставить втуне, ибо на всём почил тусклый слюдяной отблеск времени, ставшего вечностью. *Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв – и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо...* Это была пора, когда грубая мужественность стихов ещё не успела превратиться в кокетство, это были люди, которые безропотно умирали жестокой и животной смертью на Кюстринском плацдарме, в слепящих струях прожекторов на Зеловских высотах, это было время, когда...

4

Это было время девушек. Взгляд натёк на них на каждом шагу, ухо ловило смех, болтовню, обрывки загадочных реплик, девушки наводнили город и сны, все были одинаковы, и все были разными, в метро, на тротуарах, по двое, по трое, в облаке одколлона, прелестные, низкорослые, с локонами на плечах, с пышным коком над лбом, над подведёнными чёрным карандашом бровями, в туго перетянутых ремнём травянистых гимнастёрках с погонами солдат и сержантов, в плоских синих беретах, приколотых к затылку, в синих прямых юбках до колен и гремучих сапогах, девушки в перешитых платьях, в блузках, под которыми просвечивал лифчик на бретельках, просвечивали ватные подкладные плечики, в чулках со стрелками, в неуклюжих плоских туфлях-танкетках на микропоре, девушки в порхающих юбочках, в задранных сверху шляпках, марширующие туда-сюда перед кинотеатрами, перед подъездами «Метрополя» и «Националя», по улице Горького, где гуляют английские офицеры в тёмно-зелёных шинелях, где шагает бок о бок со своим двойником в стекле витрин двухметровый красавец-негр, девушки, скрывавшие и выставлявшие напоказ колени, круглый зад и маленькие груди, смуглые огненноглазые девушки-попрошайки под цветастыми платками, предлагающие любовь в полутёмных подъездах, на лестничных клетках, на скамейках пустых заброшенных парков, девушки, неожиданно ставшие взрослыми, как никто, чувствующие внезапно наступившее время – их время...

Спящий повернулся на тюфяке. Вышли из клуба мимо дремлющего смоленского швейцара. Мимо тёмного монумента, мимо мёртвых, раскинувших голые ветви деревьев – и незнакомый город под луной, с блестящими обледенелыми тротуарами, с длинными чёрными тенями, с тёмными окнами спящих домов, открыл им свои могильные объятия. Они шли, все трое, уцепившись друг за друга, чтобы не поскользнуться, повернули за угол и остановились перед витриной манекенов: мёртвые люди в фуражках и шинелях отдавали им честь. Они побрели дальше, оба, и между ними та, которую звали Наташа, – если это была Наташа, – лунный свет и морозный воздух изменили её черты. Но когда ты снова хотел подхватить её под руку, подруга, та, что шагала с другой стороны, недовольная, покосилась, у неё было сосредоточенно-ненавидящее лицо, и чёрная коса выбилась из-под пальто. Остановились перед подъездом, она схватила Наташу, втолкнула в тёмный подъезд, ты остался один на скользком тротуаре, дёргал за ручку, дверь не поддавалась, ты искал звонок, вывеску невозможно было прочесть, зато рядом находились ворота, дворник сидел на табуретке. Подворотню освещала тусклая лампа в проволочной сетке. Дворник потребовал пропуск. Расстегнув бушлат, ты – вынул свой пропуск бесконвойного. Сержант молча кивнул и опустил голову, погружаясь в дрему. Двор был в снегу, по узкой протоптанной дорожке я добрался до двери, в полутьме, крадучись, чтобы их не спугнуть, двинулся вверх по лестнице. Так и есть – они были наверху, на площадке верхнего этажа. «Ты простудишь её!» – сказал я. Ибо знал, что Наташа, если это была она, была хрупкой и болезненной. Она стояла, раскинув руки, у стены, рядом с окном в лунном сиянии, умирая от стыда, с закрытыми глазами, без пальто, с высоко поднятым платьем, так что я видел её белеющий живот и тень внизу, и ноги в чулках с подвязками; и та, другая, что-то делала с нею.

XXXII Трое. Чёрный ферзь

1955, 1948, 1946

Теперь этот дальний, казавшийся неважным, полузабытый и снова всплывший эпизод требовал прояснения: неизвестно, настигает ли прошлое виновников, но оно всегда настигает жертву. Удивительно, думал писатель, что ты занялся отгадыванием загадки теперь, когда всё уже давно позади; стоит ли её вообще раскапывать?

Тогда, в тюрьме, когда весь день глаз надзирателя приглядывал за тобой сквозь глазок, чтобы ты не спал, не прилёг, а вечером, после отбоя, едва только ты укладывался, как тотчас вставлялся и скрежетал ключ в замке и желудочный шёпот поднимал тебя с койки, и сапоги дежурного вели арестанта длинными гулками коридорами на допрос и приводили назад на рассвете, и в конце концов от бессонных ночей ты едва не слетел с катушек, – тогда ещё можно было догадываться, что к чему. Но, получив своё, ты об этом больше не думал.

И вот опять воскресает эпоха китайских теней, опять за каждым углом тебя подстерегает предательство, встречается, смотрит преданными глазами умной собаки. Да, вот так и приходишь к позднему пониманию – это была сеть, паутина, каждый мог в ней запутаться и увязнуть, в ожидании, когда подползёт некто и воткнёт в тебя своё жало. – То была подлинная начинка времени. – От этих мыслей никуда уже не уйдёшь.

Тебя предупредили, ты попытался скрыться, но не ясно ли, что несчастный свидетель – с каким сладострастием тебе зачитывали его показания! – не ясно

ли, что он был лишь украшением. Это следовало из того, что показания были сделаны в последние дни, совсем немного оставалось до той ночи, когда должны были за тобой прийти. Старуха в платке была права, та, что предупредила и потонула в этом тумане, где теперь он брёл с протянутыми руками. Кто же она была, эта тётка, искавшая репетитора для мнимого внука и, должно быть, рисковавшая многим? Поразительно, что такие люди всё ещё существовали. Да, она оказалась права, они пришли. Что им сказала мать? Но, кажется, мама тоже успела уехать. Ах, теперь это не так важно. Партийный активист, инвалид Отечественной войны, бедняга, пойманный на крючок, разумеется, был формальным свидетелем. Зачем-то им нужны эти свидетели.

Следствию всё известно. Органы не ошибаются.

Но тогда зачем вся эта многомесячная канитель, допросы, протоколы. Сцапали – и в лагерь. И не надо содержать всю эту многоголовую сволочь – следователей, начальников и начальников над начальниками.

Всё известно – откуда? А вот откуда: во всяком «деле» должен существовать секретный осведомитель.

Мы напоролись на него, шаря в тумане.

Но где доказательства? В обществе, где подозревать можно каждого, нужны доказательства. Между тем они навсегда похоронены в «деле». Не в том деле, которое для виду называлось следственным, а в другом, где подшиты доносы. Их миллионы, этих тайных папок. Никто никогда их не увидит.

И всё же есть, есть, есть доказательство. Писатель сидит в своей комнатке с тёмным окном и щелястым полом, лампа горит на столе, улики налицо. Нужно было только уметь их видеть; вот этого тебе, приятель, как раз и не хватало.

Аглая, достоевское имя. Подруга с чёрной косой... Наташа и Глаша. Что-то тут было неладно. Какой-то дымок повеял. Догадывалась ли об этом сама Наташа? Отвечала ли взаимностью? В конце концов, тень однополой любви всегда крадёт за дружбой юных девушек; вопрос, созревает ли эта привязанность до чего-то определённого или рассеивается, как туман на восходе солнца. Если же ничего такого не было, то и гипотеза доносительства рушится. И всё-таки на допросах, после того, как из Тьмутаракани его доставили прямо на Лубянку, в эти изматывающие ночи, когда лейтенант листал дело, – сама его пухлая толщина должна была произвести впечатление – листал, читал, качал головой, издавал невнятные звуки, что-то подчёркивал, когда, похлопывая ладонью по столу, он называл студентов, – а вот такого знаешь? а эту? – сыпал именами, словно твоё преступление совершалось у всех на глазах, когда, порывшись, добыл фотографию Наташи – девочка ничего... – подмигнул, – небось ухлёстывал за ней, ну и как? *Не дала?* – словом, когда казалось, что, как в игре «холодно – горячо», он вот-вот обожжётся, вот-вот назовёт другое имя, – оно, *это* имя, единственное, как раз и не было упомянуто. И ни разу не всплыло во всё время следствия, словно никакой Глаши в природе не существовало.

Заседание клуба юных поэтов закрылось, оттепель последних дней сменили новые заморозки, обледенелый тротуар блестел в тускло-туманном свете фонарей, ей пришлось уцепиться за подругу, чтобы не поскользнуться, хотя, собственно, это было обязанностью мужчины – поддерживать Наташу. Но кавалер плёлся отдельно, а они шли вдвоём. У соперницы были тёмно-блестящие, тяжёлые волосы под меховым беретом, трагически-тёмный и блестящий взгляд, круглое лицо с румянцем во всю щеку, с чуть пробившимися усиками, навязчиво полная грудь. Обогнули памятник, чью уродливость скрадывала шапка снега, брели вдоль чугунной ограды и дальше, свернув направо, мимо витрины Военторга – фуражки на никелированных подставках, целлулоидные люди в мундирах, мёртвое эхо войны, – и навстречу из мглы ползут заиндевевшие троллейбусы на мягких лапах. Девушка прячет руки в пушистую муфту, мелко ступает, щебечет милую ерунду, и та, другая,

темноокая, молчаливая, с грудью, которую не скрадывало пальто, крепко держит Наташу, словно боясь упустить, – означало ли это, что она боялась соперника? Припоминаешь сейчас все мелкие происшествия этого вечера, движения, взгляды – с какой гордостью, с каким неприкрытым наслаждением она шагала, прижимая к себе подругу, – и поражаешься собственной слепоте.

Где трое соберутся во имя Моё, там Я среди них.

Я, око госбезопасности.

Подумаем о мотивах. Что вдохновляет потомков Искарриота? Комсомольский долг. Карьера. Деньги. Страх. И всё же (думаешь ты) тут было другое, был личный, тайный, горячий мотив; что же именно? Ревность?.. Почему бы и нет? *C'est le mot*¹.

Но если эта гипотеза правильна, если *слово найдено*, значит, были основания ревновать? Значит, ей казалось, что Наташа, слабовольная, податливая Наташа, колеблясь между двумя, склонялась к тебе? Было ли это на самом деле? Поди проверь.

Он был зол. На неё, на них обеих, на щебетанье Наташи, что-то стремительно ускользало, близился переулочек прощания, и непременно получится так, что он так и не дожждётся, когда уйдёт Аглая, и они всё ещё будут стоять перед подъездом её дома, обсуждать свои бабьи дела, словно забыв о нём; зато всё, о чём ты ораторствовал по дороге, о Зоценко и Ахматовой, об идиотской партии, которая собирается выращивать литературу в цветочных горшках, – все эти давно уплывшие нечистоты времени – всё, слово в слово, окажется в протоколах, где именно так и будет названо: «издевательские насмешки».

И самое ужасное – не только над докладом секретаря ЦК тов. Жданова, не только! Но и «в адрес одного из руководителей советского государства», таково было кодовое наименование вождя в этих бумагах. Всё это могли услышать только два человека. То, что это может быть *она*, должна быть только она, темноглазая ведьма, вероятно, приходило в голову уже тогда, весной сорок девятого во Внутренней тюрьме, но о том, что всё это означало и какого рода была эта девичья привязанность, он всё-таки не догадывался.

И как было не подвернуться этой возможности. Сказать себе: ведь это же мой долг. Помочь разоблачить. Всякая попытка поставить под сомнение партийный документ есть вражеский выпад, идеологическая диверсия. Здесь есть своя логика. Он подумал, что так можно дойти до оправдания всего этого абсурда. Но это означает остаться внутри абсурда. Как уютно жить внутри абсурда!

Этот режим отлит из чугуна, он твёрд и неколебим. Но хрупок. Значит, всякий, кто посягает... Всякого, кто посягает. *Не стройте из себя целку*. Не изображайте невинность. Сказано: *там Я среди них*. Я – глаза и уши. Но где же был тот, кому эти уши несли свою дань, где тот, чьё имя, как имя Всевышнего, нельзя называть, чей лик ужасен? О его существовании мы не ведали. А между тем он спокойно сидел за двойной дверью в правом крыле дома на Моховой, что-то листал, набирал номер-код телефона, скромно-невзрачный, словно инсект, покачиваясь, как в гамаке, посреди своей сети, слабо поблескивающей в оловянном свете луны.

Но Наташа! Ты забыл звук её голоса, теперь снова вспомнил; снова представил себе её хрупкость, её ужимки, нечто кукольно-целлулоидное в её облике; теперь она – словно экспонат среди прочих; её душа тебя нисколько не занимает. Остаётся вершиной этого треугольника, она вовсе не была главным действующим лицом. Она и не хотела быть главной. Она была в меру капризной, в меру цивилизованной, настолько же умницей, насколько и дурочкой, глупышкой, воспитанной в этой роли и всё ещё не готовой сменить её на другое амплуа; на улице прятала руки в муфту, прятала носик в пушистый воротник; вовсе не желала учиться и, может

¹ Вот отгадка (фр.)

быть, держалась на курсе лишь благодаря влиятельным родителям; хотела походить на Ольгу Пушкина, на Наташу Толстого, намекала на дворянское происхождение; гладко причёсывалась, но оставляла завитки волос вокруг лба; носила длинные косы и бант на затылке, должно быть, бант завязывала бабушка; хотела быть как Дина Дурбин, хотела быть «девушкой моей мечты», что ей и удалось, тратила время на пустяки или то, что должно было выглядеть пустяками; вся её жизнь была пустяком, но также и стилизацией под легкомыслие; ибо она никогда не упускала из виду простого и главного – жить в уютных комнатах, вкусно кушать, удачно выскочить замуж. Такой была Наташа.

Она была влюблена – не в тебя, о, нет! – в себя, в собственное тело со всеми его прелестными подробностями, и то, что она попала в сети иной привязанности, в сущности, не должно было её удивлять, если бы не страх. Она боялась Аглаи, боялась тяжёлого взгляда этих траурных глаз, мерцающего из угла комнаты, как костёр на горизонте, ловила этот безмолвный сигнал, всё ещё принимая его за призыв эгоистичной дружбы; ты заметил этот взгляд, когда единственный раз был у неё в гостях. Дикая застенчивость приковала тебя к дивану, ты попал в другой мир, ты не смел произнести ни слова, да так и просидел, не вставая, весь вечер. Комнату заполнила незнакомая шикарная молодёжь, впрочем, это была не комната, а нечто неправдоподобное, отдельная квартира, пожилая женщина в белом фартучке разносила тарелки, роскошное картофельное пюре с мясом, за роялем сидел студент консерватории, гений с длинными волосами, играл «На тройке» Чайковского. Никто из них не догадывался, что в этой пьесе изображен ухаб, на который взбирается лошадь, затем широкий раскат саней вбок и бег с колокольчиком по зимней дороге, и снова ухаб, и снова бег – уж колокольчик-то не могли не услышать – и широкая распевная мелодия, снежная равнина, и далёкая, тонущая в морозном тумане русская тройка. Чтобы представить себе эту картину, нужно было пожить во время войны в эвакуации, за тысячу вёрст от Москвы.

Нет, не Наташа с её слабым, кружащим голову излучением (это головокружение он и принял за любовь) была героиней этого сюжета. Чем больше он размышляет, вновь и вновь расставляет фигуры на шахматной доске, тем яснее становится, кто был главной фигурой. Он встаёт и выходит из дома. Городишко, сто первый километр, спит, в вышине сияет луна. Они выходят. Трое выходят на площадь, начался снегопад. Белые хлопья сыплются вокруг искусственных планет. Та, что идёт справа, крепко держит под руку подругу, ждёт, когда, наконец, распрощается и уйдёт третий лишний. И вот, наконец, свернули с Арбата в Большой Афанасьевский переулок, дом Наташи, остановились перед подъездом, словно для того, чтобы принять решение, и ты принял решение, ты сказал себе, хватит, пора кончать со всей этой тоской и морокой, плюнуть на них обеих; обзлётанный, ты чуть было не сказал это вслух. Как вдруг Наташа проворковала, не хочу спать, погуляем ещё немного. Внезапно он понял: это был крик о помощи.

Она боялась Глаши, боялась её чёрного, страстного взгляда, быть может, слегка наигранного; боялась тёмных подъездов, и поцелуев, и дерзких объятий, когда вдруг прижимаются всем телом, грудью, животом, бёдрами. Страх девственницы – это была брешь в крепостной стене, над которой развевался лесбийский флаг. Но вот что удивительно (писатель всё ещё стоит на крыльце): он вдруг понимает, что сам хотел бы объять – кого же? Наташу? – о нет. Ту, другую, румяную и черноволосую, излучавшую чувственность, словно волны инфракрасного света.

Мы можем прожить много лет, не поняв своего чувства, давно утасшего, до тех пор, пока память, совершив круг, не вернётся к далёким временам, чтобы расставить шахматные фигуры так, как они стояли. Она, она, думал писатель, напоила нас отравой неутолённого вождения. Любовь была закована в неписанный этикет, в плотный лифчик, в жёсткий, как панцирь, пояс с резинками для чулок.

Вот кто был средоточием неразрешившегося романа втроём. Арест разрешил его. Вспомнилось, что Аглая носила фамилию матери; до революции это означало бы – внебрачный ребёнок, прочерк в графе «отец». Теперь это означало, что отец «репрессирован». Да, можно прожить много лет, прежде чем станет ясной коренная двусмысленность нашего существования: чёрная девушка была посланницей ада. Таков был метафизический смысл её явления. Земной же был тот, что необходим крючок, чтобы выудить жертву. Пропавший отец, вот кто этот крючок, не так уж трудно догадаться – отец, о котором старались не вспоминать и о котором напомнили, на который её подцепили. Прижали к стенке и предложили стучать.

XXXIII Ещё один. Сеть

Тогда же

Но тут же он подумал, что эта гипотеза – ведь что ни говори, это была всего лишь гипотеза, вдобавок с романтическим привкусом, – что она не всё объясняет. Не все «факты». Как всякий, кто угодил в эту паутину, он сомневался и в фактах; как все, жившие в этом государстве, понимал, что заподозрить стукача можно в каждом. Вся жизнь была зыбкой, неверной, двусмысленной, люди появлялись из тумана, чтобы затем вновь раствориться в густой белёсой мгле. Откуда взялся Серёжа?

И этот тоже как бы перестал существовать после того, как ты провалился в люк и крышка захлопнулась, после того, как ты сам перестал существовать, после того, как круги на воде сомкнулись над твоей головой и ты оказался в подводном царстве, где люди с рыбьими глазами, в жёлтых плавниках погон, бесшумно шныряли по коридорам, и фамилия Серёжи на допросах и в протоколах никогда не упоминалась. Не было никакого Серёжи.

Он подумал, что одно другому не мешает, силовые линии скрестились: Аглая, чёрный ферзь, с одной стороны, а с другой – слон, в шахматном просторечии – офицер. Правда, только один раз, если не изменяет память, он пришёл в университет в военной форме: сапоги, гимнастёрка, ремень с портупеей, погоны с продольной полосой.

Силовые линии скрестились, как два луча прожекторов противозвушной обороны, – и сочинитель хроники вспомнил, это было за несколько дней перед эвакуацией: крохотный самолёт врага в тёмном небе над Большим Козловским переулком.

Сочинитель сказал себе, что, пожалуй, только теперь может оценить должным образом внешность Серёжи. В самом деле, это была какая-то очень характерная внешность, как если бы этих людей специально подбирали: маленькие, словно постоянно прищуренные глаза, правильное розовато-гладкое лицо, лишённое индивидуальных черт, ничего не выражающее, даже когда он рассказывал анекдоты, острил, цитировал Ильфа и Петрова. Эта стёртость и была его особым выражением. Это был *стиль*. Надо было уметь читать эти лица, думал писатель. Но не потому ли он вспоминает теперь выразительно-невывразительную физиономию друга, что, сам того не замечая, копит улики.

Обыкновенно Серёжа приходил в университет в новеньком, с иголочки, костюме, должно быть, пошитом по заказу; длинный по моде пиджак, галстук, отутюженные брюки – всё прекрасно сидело на нём; и это в нищие послевоенные годы; не иначе как сын высокопоставленных родителей. Он был студентом таинственного военного института иностранных языков, учил английский, никто толком не знал, что это был за институт, и даже не приходило в голову спросить, кого он,

собственно, готовит. И сейчас писателю казалось, что, подружившись с ним, Серёжа проходил, так сказать, производственную практику.

И тот тайный, кто сидел за двойной дверью в конце коридора в административном крыле, и кто-то там в институте военных языков, и мальчик в новеньком, с иголки костюме, сын важных родителей, — были *коллеги*, вот в чём дело.

Откуда он всплыл? Знакомство произошло всё в той же поэтической студии. Был ещё один парень, некий Миша Китайгородский: в детстве жили с Серёжей в Кривоколенном переулке, на одной лестничной площадке, и в школе сидели на одной парте. После войны Серёжа с родителями переселился на улицу Чехова, и дом был особый, посторонних туда не пускали, и к Серёже нельзя было больше ходить в гости. Руководитель клуба молодых стихотворцев похвалил Мишу. Вместе с Мишей на заседания клуба приходил загадочный друг. Потом этот Миша куда-то пропал, больше не появлялся, зато Серёжа, хоть и не писал стихов, стал завсегдаем клуба, и как-то так получилось, что вы сблизились.

О том, что Миша был арестован за «разговорчики», услышали каким-то образом, прошёл шёпоток, слушок; Серёжа об этом знал, но помалкивал, как и вообще полагалось молчать в таких случаях; но память об исчезнувшем сблизила вас. Всё как-то выстраивается, думал писатель, шахматная партия разыгрывается сама собой по собственным правилам. Не было бы этого Миши, не было бы и Серёжи. Миша исчез, а Серёжа был его другом. Серёжа остался, потому что исчез Миша. Серёжа приходил на факультет, на третий этаж, туда, где окна выходят на площадь и крепость с зубчатой стеной, допоздна бродили по городу, входили в Филипповский ресторан на улице Горького. Серёжа говорил, что продал словарь Вебстера, и был при деньгах. Это были головокружительные вечера. Снаружи в окнах, задёрнутых тюлевыми занавесками, горели красные неоновые вывески, в вестибюле встречал швейцар в серебряных галунах, волны тепла, роскошного уюта окатывали, окутывали входящих, в тусклом тумане, в волшебном сиянии люстр, среди говора, женского смеха, неслышного бега официантов усаживались за столик с крахмальной скатертью, подходил надменный метрдотель, подавальщица в наkolке, в кружевном передничке приносила розовый графинчик, холодную телятину, заливное из судака а-ля... теперь уже не вспомнишь, как это называлось, не сказать, чтобы очень уж аппетитное, но ужасно аристократическое. Серёжа шурился, смотрел на бёдра официантки, на эстраде брэнчал и ухал оркестр, и конферансье, похожий на дворецкого в американском фильме «Сестра его дворецкого», похожий на графа Данило из оперетты «Весёлая вдова» — *па-айду к Максиму я, там ждут меня друзья! — похожий на Эдвига из оперетты «Сильва» — помнишь ли ты, как мы с тобой встречались*, — шикарный конферансье объявлял жирным переливчатым баритоном:

«Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях...»

И называл какое-то имя, очевидно, знаменитое, простирая ладонь в угол, где сидел с каменным лицом этот знаменитый, а напротив него, с серебристой лисой на спинке стула, вся в кудряшках белокурая красавица, точь-в-точь как Людмила Целиковская. И вообще здесь все были похожи на кого-то. Оркестр грянул заказанное, истинно русское, любимое, от которого хотелось вскочить и пройтись гоголем. На эстраде, рядом со спиной и фалдами дирижёра уже стоял наготове дородный певец со сверкающей лысиной, в крахмальной манишке с бабочкой, именуемой «собачья радость». И —

Вдоль по Пите-ерской. По Тверской-Ямской, да эх, ы!

Серёжа разливал водку. Люстра вращалась, переливаясь огнями. Начинаясь увлекательная беседа, писатель спешил поделиться своим открытием. Серёжа кивал, говорил, что и он догадался. Открытие состояло в том, что мы живём в царстве обмана и лжи. Самая счастливая в мире страна на самом деле самая обездоленная, величайший стратег и полководец никакой не полководец, а деспот

и трус, который прячется в Кремле, в нашей стране фашизм, что и подтверждается сходством с немцами: у них фюрер, у нас вождь, у них партия, и у нас партия — наш-рулевой. И всё такое прочее.

XXXIV Утренние утехи. Ничтожество, или частное лицо

10 октября 1956

Тёмным утром, когда казалось, что день так и не наступит, когда тусклые огни отражались в лужах и угрюмые пешеходы сталкивались зонтами, человеческая каша съезжала по эскалаторам, вдавливалась в вагоны и колыхалась в подземных туннелях навстречу летучим огням, — утром в понедельник, в комнате-келье баронессы Тарнкаппе нагая девушка тщетно старается выбраться из стеклянной неволи, тусклой белизной отсвечивает исполосованное временем зеркало, и стена над диваном увешана фотографиями баснословной эпохи. *Veillez avoir l'obligeance...* Мальчик ёрзает на диване.

Тёмным осенним утром, в свинцовых лучах Сатурна, когда кажется, что день никогда не наступит, в доме на углу Большого Козловского переулка, в комнатке покойной Анны Яковлевны висит на стуле, валяется на полу рубаха мужчины, бюстгальтер и кружевные трусики женщины; двое дремлют после предутренних объятий, он, повернувшись к стене, она с приоткрытым ртом, в путанице волос на подушке, над краем раскладного дивана.

Он проснулся окончательно, теперь и он лежит на спине. Счастливый любовник стряхнул с себя лохмотья сна. Женщина по-прежнему посапывает. Скопив глаза, он видит её плечо и левую грудь, слегка соскользнувшую вниз. Что сулит этот день? Или чем он грозит. Оставаться по-прежнему в подвешенном состоянии, приезжать, возвращаться и снова приезжать в квартиру, где новые жильцы вот-вот должны вселиться в бывшую комнату родителей. Ночевать у Вали в ожидании, когда донесут соседи, нагрянут мусора, — или всё-таки зацепиться, получить какой-никакой штамп в паспорте. Проклятье труда, о, проклятье труда, — кто из нас не давал себе клятву никогда не работать, «если выйду когда-нибудь на волю», кто не твердил себе: нет уж, буду лапу сосать, с голоду подыхать, но работать ни-ни, и никто меня не заставит. Увы, проклятье тащилось за ним, как тень. Получить прописку можно, если числишься на работе, а поступить на работу, если прописан.

Прописан-то он прописан, но где?

«Дай взгляну ещё раз».

Она натянула повыше одеяло. Писатель перевалился через Валентину, зашлёпал в угол, вернулся с предательской книжечкой в сером дерматине. Сумерки одели в серое его тело, он был худ, широкоплеч, с впалым животом, чёрные волосы, начинаясь от пупка, осеняли его пол. Женщина смотрит на тебя. Точнее, смотрит на *него*.

«Слушай-ка... Ты что, еврей?»

«Мусульманин».

«Нет, серьёзно».

«Словно первый раз видишь».

«Хотела спросить».

Он пожимает плечами. «С этой точки зрения, еврей».

«А я и не знала».

«Мой отец был половинкой. Вероятно, бабушка».

«Что бабушка?»

«Настояла на том, чтобы...»

«Говорят, евреи...»

«М-м?»

«Говорят, женщинам нравится».

«Что нравится?»

«Ну, когда член голый».

«Тебе тоже?»

«Может, и нравится».

Ого! он растёт. Божественный гриб растёт. Мужчина нависает, разбросанные ноги, как щупальцы, обхватывают его ягодицы. Тяжело дыша, любовники перекатываются на ложе, и, оказавшись наверху, женщина превращает победу мужчины в свой триумф, в свою победу.

Они лежат рядом. Серый день возвращается в комнату. Серая книжечка валяется на полу.

Две вещи определяют место человека на земле: паспорт и детородный член. Две инстанции решают твою судьбу – чиновник и женщина.

Признаться ли себе в том, что только это у него и есть?

Валентина шарит голой рукой, нащупывает книжечку.

В чём дело, паспорт как паспорт.

Не совсем. Федот, да не тот.

«Вот», – сказал он.

Загадочная графа «На основании каких документов выдан...»

На основании справки №... и Положения о...

«Ну и что?»

«А то, что в твоём паспорте, например, такой пометки нет. Она означает: вышел из заключения. Я ходил к юристу. Хотел узнать, что это за Положение».

«И что он сказал?»

«Ничего. Это такая контора адвокатов на пенсии. Старые волки. Работают на общественных началах, можно получить консультацию бесплатно. Они там все сидят в одной комнате. Я говорю: вот я вернулся, хочу узнать, что мне положено, что не положено. Он посмотрел на меня и сказал: пойдёмте, я вас провожу. Вышли в коридор, он говорит: я не могу ответить на ваш вопрос. Не все законы подлежат разглашению. Это Положение секретное».

«Правильно, – сказала Валентина. – Если каждый будет знать... Нам пора, давай одеваться. Слава Богу, что хоть...».

«Что – слава Богу?»

«Что хоть национальность – русский».

Тени жильцов уже копошатся на кухне. Чайник вскипел. Она вернулась и рассказывает:

«Ведьма эта, плоскодонка. Тощая, как щепка. Кто это у вас там ночует, посторонних к себе пускаете, вот придут проверять... Я говорю, а твоё какое собачье дело».

«Но они в самом деле могут проверить. Может, она уже написала».

«Пускай пишет. Начальник меня знает».

Начальник милиции её знает, и тот, к кому они собрались, её тоже знает; так-то оно так, а всё же. Отовсюду внимательные глаза следят за тобой. В толпе равнодушных граждан ты словно инвалид на тележке с колёсиками. Вон там впереди маячит синяя фуражка, ждёт, когда ты подъедешь.

Не попадайся на глаза начальству. Одиннадцатая заповедь, которую русский народ прибавил к Декалогу Моисея. Звенят подковки сапог. Мильтон марширует навстречу. Переберись на другую сторону улицы. Нырни в переулок. Исчезни, испарись. Поздно, он догоняет тебя. Внезапно задребезжал звонок в коридоре: они стоят на лестнице. Звонок! Ты что, не слышишь? Они пришли за мной.

«Да нет там никого...»

Она одевается. Наклонившись, так что её круглые плоды нависают во всей красе, продевает в шёлковые трусы одну полную ногу за другой, хозяйственно заправляет груди в бюстгальтер.

«А я говорю: звонят».

«Ну, звонят, кто-нибудь откроет».

«Говорю тебе, один звонок, это к нам».

Спрятаться в сортире? Соседи шастают в коридоре. Где такой-то? Вон там — пальцем на дверь уборной.

Вздохнув, она накинула на себя что-то, вышла в коридор и вернулась.

Она лично руководит его экипировкой. Скромно, но прилично. Ни в коем случае не бросаться в глаза, но так, чтобы люди видели, что порядочный человек. Хорошо бы ещё что-нибудь нацепить. Что-нибудь патристическое. Роемся в деревянном блюде с брошками, клипсами, бусами. Вот это будет в самый раз. Алый эмалевый значок «40 лет ВЛКСМ» красуется у писателя на лацкане пиджака.

«Теперь уже поздно».

«Что поздно?»

«Поздно вступать».

Он думает, что этот значок носят только старые комсомольцы. Он никогда не состоял в комсомоле.

«Почему?»

Он пожимает плечами. Так получилось. В эвакуации никакой комсомольской организации не было, и вообще обо всём этом забыли во время войны. В университете вступать было неудобно — когда все давно уже комсомольцы. Да и зачем?

«Призрачная организация», — сказал он.

«Ты так думаешь? — Она усмехнулась. — А вот сейчас увидишь».

Что-то похожее на солнце проглядывает в прорехах серовато-молочных облаков, добрались до бывшей Волоколамской заставы, оттуда троллейбусом, и вон оно, видимое издали, бетонно-стеклянное, с уходящими ввысь рядами окон, с огромными буквами над крышей во всю длину фасада. Вслед за спутницей писатель вступил в просторный вестибюль.

Что-то есть в его внешности, неуверенной походке, притягивающее бдительный взгляд грозного швейцара с лицом мопса. Мимо, мимо... Презрительные девицы с наклеенными ресницами в низких креслах за столиками чёрного стекла, папироса между двумя пальцами, высоко закинутые ноги, коленки в апельсиновых чулках. То ли кого-то поджидают, то ли так положено — чтобы в креслах полулежали модные красотики. Племянница — но теперь она уже не была племянница, она превратилась в таинственную незнакомку, в столичную штучку, в девушку из высших сфер — племянница в светлом габардиновом плаще с пояском, подчеркнутым бёдра и грудь, в шёлковом платочке вокруг шеи, на цокающих каблучках, показав мимоходом красную служебную книжечку отеля «Комсомольская юность», втолкнула писателя в лифт, и оба отразились в зеркалах, бесшумно, тайно поплыли наверх, бесшумно остановились. Светлый коридор, ковровая дорожка и ряды дверей с узорными бляхами.

Костяшкой пальчика с полированным коготком: тук-тук.

Ещё раз — тук-тук.

«Алексей Фомич, а мы к вам!»

Каблучками в трёхкомнатные хоромы: цок-цок.

Алексей Фомич жает розовое молодёжное лицо. Он только что принял душ, мокрые волосы, пёстрая шёлковая пижама, щегольская сорочка лимонного цвета, просторные пижамные штаны и меховые шлёпанцы.

«А-а, Валенька... заходи, заходи».

И, должно быть, думает писатель, могучий, как у коня, полновесный орган между крепкими волосатыми ногами.

Однако... какие у неё знакомства.

Она выпархивает из ванной с пушистым полотенцем на вытянутых руках – Валентина здесь как дома. Алексей Фомич вытирает полотенцем крепкий затылок.

«А это, Алексей Фомич, я вам говорила...»

«Прости, Валюша, запомятовал».

«Я вам говорила... насчёт...»

«А! этот. Как же, вспоминаю».

«На вас вся надежда...»

«Чайку? Кофейку? У меня полчаса времени... давай по-быстрому».

«Всё-то вы заняты, нельзя так много работать...»

Дверь неслышно отворилась, въехал столик. Мальчик в курточке и картонной каскетке, тщательно причёсанный, скромно-смазливый, проворно расставляет рюмки, чашки, тарелочки с закусками, ловко орудует штопором. Уселись; так в чём дело-то.

«Я вам уже говорила...»

Она вздыхает. Есть от чего вздохнуть.

«У него...»

«Короче. Когда освободился?»

«Алексей Фомич, за вас».

Пригубить рюмочку. Заодно налили и просителю.

«Время, время! У меня совещание в президиуме».

«Чтобы вы были по-прежнему молодым, красивым...»

«У тебя что, отгул?»

«Я сегодня в ночную смену...»

«Угу. Статья? Тири-рири-ри... – Он напевает, оглядывает трапезу. – Небось пятьдесят восьмая?»

Масло туда-сюда, словно точит нож о булочку. Вилкой листок голландского сыра – шлёп. Сверху ломоть отменной докторской колбасы.

«Алексей Фомич, мальчишкой был. Сболтнул что-то там».

«Тири-ри. – Искоса, писателю: – Небось прокламации писал! В организации состоял! Чего молчишь-то, язык проглотил?»

«Нет», – сказал писатель.

«Боишься сказать, что ли?»

«Ничего не писал и нигде не состоял».

«Все вы так. Каждый из себя невинную жертву корчит. Ладно, кто старое помянет... Поучили тебя маленько, тоже полезно. Ты теперь свободный полноправный гражданин».

«Да ведь в том-то всё и дело, Алексей Фомич, полноправный-то он полноправный...»

«Знаю, знаю... Ничего коньячок, а? Ладно, всё понял. Обещать не обещаю. Посмотрим... Попробуем. Паспорт у тебя с собой?»

Оба возвращались в квартиру возле Красных Ворот. А ты, спросил он.

«Что – я?»

«Какая у тебя должность?»

«Много будешь знать. Какая должность... Горничная. Обыкновенная горничная».

«Это я понял, – сказал писатель. – Только ведь туда, я думаю, просто так не попадешь».

«Правильно думаешь».

«Как же ты...»

«Как попала? Вот так и попала: по знакомству; а ты как думал? Без блата теперь ни шагу. Само собой, проверка документов, врачебная комиссия, куча всяких справок. Одна анкета – десять страниц. Ну, и конкурс, конечно. Никогда не думала, что пройду. Сто баб на одно место, ужас».

XXXV Интермедия: личная жизнь Валентины

Октябрь или ноябрь

В полдень века золотушное солнце слабо отсвечивает в окнах верхних этажей. Войдём в подворотню. Здесь всё то же. Разве только исчезли пожарные лестницы, никто больше не лезет на крышу, не носится по двору, не играет в «классики», в «колдунчики», в «двенадцать палочек». Двор пуст. Мальчики тридцатых годов лежат в полях под Москвой, в калмыцких степях, в прусских болотах. Тебе, парень, повезло: твоя очередь приблизилась, когда наступил мир, твоё место на кладбищах войны пустует.

Писатель спрашивает себя, что осталось от девушки в бокале. Наши детские увлечения, детская очарованность, детская любовь – если это была любовь – не только запоминаются на всю жизнь, но проецируются на других женщин, участвуют, сознаём мы это или нет, в том особом виде творчества, которое называется любовью. В первые минуты, в то утро, когда он явился с вокзала, ему показалось, что она всё та же. Это была иллюзия. Девушка-русалка давно уже выбралась из своей стихии, превратилась в обычную женщину. Вопрос, который он задал, был, собственно, вопрос, любит ли он её по-прежнему; вопрос, который и сама она задавала себе в иные минуты, когда, пресыщенные друг другом, они погружались в отчуждённое молчание, когда мало-помалу перед ней открылась истина о нём, перед ним – истина о ней. Человек, который приезжал к Валентине, чтобы остаться на ночь, которого она понемногу поддерживала, подкармливала, который почти уже перебрался к ней, – молчал, когда нужно было что-то сказать, ни слова о чувствах, ни единого словечка благодарности; человек с выжженными проплешинами в душе наподобие полей чёрного праха и обгорелых пней, которые оставляют за собой лагерные бригады, вгрызаясь в тайгу. А женщина, с которой связали его одиночество и чувственность, – кем была она, кем стала за эти годы?

При входе во двор налево, в первом этаже находится широкое трёхстворчатое окно, в детстве именовавшееся венецианским, – может быть, потому, что никто не бывал в Венеции, и никогда не будет, – досюда никогда не доходит солнце: комната Анны Яковлевны. Окно задёрнуто занавеской.

Она стоит перед зеркалом: дуэль глаз, клоунада лениво-бесстыдных телодвижений. Из опрокинутой комнаты на Валю взирает призрак полунагой женщины, чья молодость всё ещё продолжается, да, да, всем назло продолжается и притягивает взгляды. Рассматриванье себя, а точнее сказать, пожирание себя в волшебном стекле – ни с чем не сравнимое переживание; всякий раз открываешь себя заново. У неё свободных полдня, она только что поднялась. В копне нечёсанных волос, оторвавшись от своего отражения, она присела на корточки перед комодом; её колени блестят, сорочка сползла с плеча. Незачем тащиться на кухню, для этих вещей имеется спиртовка. Она поставила её на пол. Отупелая, без мыслей, она сидит на своём ложе.

Ей показалось, мелькнула тень за окном, вскочив, она заглядывает за край гардины, видит угол двора и освещённый солнцем вверху брандмауэр. Еле слышно kloкочет вода в стерилизаторе. Умелые пальцы надпиливают крошечной пилкой горлышко ампулы, щелчок – сосок отлетает, волшебный сок насасывается в стеклянный цилиндр. Теперь стянуть жгутом левую руку повыше локтя, короткий, нежный прокол, струйка крови вползает в «баян», зубами ослабить жгут, поршень вперёд. Ласковая смерть вливается в меня.

Отбросив одеяло – жарко, – я лежу на спине, жду, сейчас «двинусь»... Ничто так точно не передаёт наши ощущения, как этот язык, этот нежный, бесстыдный код посвящённых, нас много, мы узнаём друг друга по этим словечкам. Вот оно!

Уже забирает. Уже возвестило о себе серебряными звоночками, мимолётным головокружением, покалыванием в пальцах, в паху, в затылке. Время растягивается, утро далеко позади, и ясно до слёз, до последних уголков памяти, что прежняя жизнь была жалкой, скудной, никчёмной – какое-то полусуществование, и только это расправляет скомканную душу, открывает глаза, поднимает на крыльях. Только это делает тебя человеком, и не просто человеком – женщиной. И я смеюсь от счастья, и медленно, величаво красавица поднимает ресницы. Комната, как была, так и осталась, но всё кругом наполнилось смыслом и ожиданием. Взглянула на часы – всё ещё длится полдень. У неё бездна свободного времени.

Она снова стоит перед зеркалом – там усмеваются, подмигивают, срам какой, надо же, наконец, причесаться. Бросив на столик щётку с клочками волос, она принимается за лицо, протирает пахучим лосьоном лоб, подбородок, проводит ваткой под глазами, где карандаш? – поправляет дуги бровей. Для кого она украшает себя? Господи, да ни для кого. Она почти упирается носом в стекло, колдует с тушью для ресниц, перебирает металлические, деревянные, пластмассовые патроны с помадой, тронула губы пламенно-оранжевым – стёрла, – тёмным, пурпурным, как кровь, – снова стёрла, провела губным блеском. Она полна любви к себе.

И оживает стекло, разгорается тусклым серебряным пламенем, медленно отступает та, другая, окружённая сиянием, кивает, зовёт, улыбается уголками бледно-блестящих губ. Происходит то, что всегда происходит: она понимает, что это – игра, но грань игры и действительности исчезла; если она играет сама с собой, то и та, в хрустальном стекле, играет с нею. Покачать головой, погрозить ей пальцем. Сбросить всё с себя, как те нежные и наглые, в маленьком смотровом зале, где показывают трофейные фильмы, что ж, и нам есть что показать.

Она осталась в лакированных туфельках на высоких каблуках, выгода которых очевидна: женщина становится гибче, стройней, зад и бёдра круглей и выше, взгляд обтекает их. С лицом покончено, с ним уже достаточно повозились, напоследок острый взгляд в расширенные наркотиком зрачки, но долго его не выдержишь.

Она поворачивается так и сяк, разглядывает себя сбоку, от затылка к изгибу поясицы и полукруглой линии в меру пышных ягодиц, от лебединой шеи к соскам невысоких грудей, вдоль опущенных мраморных рук к ладоням, к узким алым ногтям в углублениях длинных пальцев с простеньким бирюзовым колечком, приносящим счастье, с платиновым перстнем, наделённым мрачной магической силой, – подарок могущественного Алексея Фомича. Глубоко, страстно дышит её отражение, любясь собой, она поднимает руки, её ладони открыты, она покачивается, как в танце, балансирует, словно идёт по канату в лиловом сиянии юпитеров, и та, вторая, в зеркале, жадно следит: дойдёт или не дойдёт? Канат качается под ней, она переставляет узкие стопы, трутся друг о друга внутренние поверхности бёдер, и сладостное, всякий раз новое ощущение заливаёт плясунью, заливаёт тёмный дышащий зал. Вдруг шорох, скрип! – этого ещё не хватало – она спрыгивает с каната, бросается к дверям. Дверь приоткрыта. То ли сама собой отворилась, то ли кто-то прячется в коридоре. Кто-то подглядывает за ней. Это бывает. Ей говорили, всё зависит от дозы, но надо убедиться. Подхватив что-то, прикрыв грудь, она высовывается, стоит сундук, горит чахлая лампочка, двери жильцов закрыты. Она оборачивается и видит свою союзницу и соперницу в чёрно-серебряном стекле. Одеяло сползло. Валентина лежит на диване, на смятой простыне, слёзы текут по щекам, она оплакивает свою долю, уходящую молодость, и не знает, был ли кто-нибудь в коридоре, отомкнул ли кто её дверь, запертую на ключ, или всё это бред, яд, лишнее деление на стеклянном цилиндре шприца. Сколько-то времени проходит. Ей пора на дежурство в отель.

XXXVI Уступка философствованью, которое никуда не ведёт

Полдень 21 февраля 1957

Подведём итоги, сказал он. Феерическая поездка с Анной Яковлевной в Колонный зал окончилась ничем. Вечный двигатель так и не был изобретён. Девушка навек осталась в бокале. Война, конец детства. Университет... Время поэтических проб, вздыханий, ожиданий, и снова жизнь насмеялась над тобой. Памятный разговор в Круглой аудитории, бегство из Москвы и конец юности. Где во всём этом смысл, где связь вещей? Подведем итоги; литература – это итог.

Любовь к пустынькой Наташе ушла в песок. – Слишком поздно, приятель, мы догадались, что одними чувствами не отделаешься. – Сны объяснили, в чём дело, с грубой наглядностью. – Было, может быть, что-то трогательное, что-то подлинное в этом танце влюблённости. Но она и была создана для влюблённости, больше ни для чего. Представить себе, чтобы при каком-нибудь необыкновенном стечении обстоятельств, она «отдалась», так же невозможно, как невозможно предположить, чтобы он нашёл в себе нужную решимость. – Самое слово «половой акт» резало слух. – Но если бы это случилось, если то, что демонстрировал театр сновидений, однажды осуществилось бы наяву, что было бы? Любовь, прошу прощения, вытекла бы вместе с семенем. – И, однако, парадокс в том, что, называя вещи «своими именами», мы избираем самый лёгкий путь, мы не постигаем истину – мы проскакиваем сквозь неё, как пуля сквозь яблочко мишени.

Сопя, кашляя, сочинитель сидит в своей комнатёнке за дощатым столом. Да, сочинитель, бумагомаратель, графоман: пусть лучше так, чем называться «писателем», надутое, фальшивое, лживое слово. Пузо вперёд, в зубах декоративная трубка. *Пи-ссатель сраный*. Слышите ли вы это змеиное «с-с»? Похоже, мы дожили до той поры, когда выражение *советский писатель* стало эвфемизмом проституции. Итак, на чём мы остановились... Вжиться в минувшее. Восстановить настроение тех лет. Сделать прошлое настоящим. Сочинитель не читал Августина. Но он постиг: литература – это вчерашняя вечность. Не назвать ли так всё сочинение? Итак, вернёмся к тем временам, *revenons à nos moutons*², словечко Анны Яковлевны. Её уже не было в живых...

21 февраля, продолжение

Он помнил, как он кипел ненавистью к вертлявым, неуловимым существам: за их лицемерие, за их уклончивость, за то, что невозможно было понять, где кончается искренность и начинается театр, где граница между невинностью и притворством, и не есть ли это одно и то же; он ненавидел их за то, что они притворялись, будто ни о чём таком не подозревают, и притворялись, что притворяются, – на самом же деле были циничны, расчётливы, знали всё наизусть. О, эта желторотость. Ведь ему даже в голову не приходило, что женщина, будь ей восемнадцать лет или все сорок (что, по тогдашним твоим понятиям, было бы безнадёжной старостью), вовсе не видит оскорбления в том, что её «желают», напротив, обидно и оскорбительно почувствовать, что с тобой не желают больше возиться. Не приходила в голову та простая истина, что обожание может льстить, забавлять, но в конце концов надоест.

В каждой ужимке и в каждом движении тела скрывалась двусмысленность, отворачиваясь, тебе на самом деле подставляли себя, и наоборот, «нет» означало «да», «да» значило «нет». Была ли в этом какая-то логика, были ли они по-своему правы? Они словно заранее знали, что стоит переступить границу, стоит только

² Вернёмся к началу (фр.)

«дать» – да, именно так, цинически, они выражались, эти якобы наивные существа, и не только мысленно – наверняка пользовались этим словечком в разговорах между собой, – стоит однажды уступить, и любовь захлебнётся в своём утолении. Кто же не знает, что образ невинной девочки есть изобретение мужчины. Драгоценнейшее, может быть, изобретение, но – артефакт! И все же предположение, будто вся эта тактика подчинена расчёту, остаётся всего лишь предположением.

Укоряя других в цинизме, сам становишься циником.

Правда двулика.

Вжиться в ту далёкую жизнь.

Человек с повреждённым паспортом поднимает голову. Ему показалось, что кто-то скребётся в дверь. Оставьте меня в покое! Писатель был явно не в духе – оттого ли, что не мог собраться с мыслями, в буквальном смысле собрать их, как подбирают бусы, раскатившиеся на полу, или не мог сосредоточиться оттого, что находился не в духе, а на дворе – гнилая бессолнечная весна.

Смысл в том, чтобы отыскать смысл. Собрать и нанизать эти бусы на нитку. Он озирает свои бумаги, и тут ему начинает казаться, что на первый случай, по крайней мере, существует ответ. Он ещё не совсем постиг, каков он, этот ответ, но как-то отлегло от сердца, пала активность желёз, вырабатывающих плохое настроение. Рахитичный луч упал из окошка на пол, протянулся до стола, проглянуло солнце.

Ближе к вечеру

Ему приходит в голову забавная мысль. Он думает, что эта потребность нащупать стержень, преодолеть удручающий хаос жизни, убедить себя в том, что *всё недаром* и за кажущейся бессмысленностью существования прячется некий умысел, – что это? не скрывается ли в этой жажде обрести единство, уловить тайный смысл некий наследственный недуг: так заявляет о себе капля еврейской ветхозаветной крови, быть может, ещё сохранившаяся в нём. Он усмехнулся. Микрокосм его жизни вдруг предстал ему как отражение макрокосма страны. Может быть, в этом-то и весь смысл? Или, по крайней мере, оправдание его жизни. Типично иудейская идея.

Страна Россия, думал он, что за страна! Полная чаша. Всего в избытке. Но никому не дано насладиться красотой её природы, величием рек, изумительной архитектурой городов, широтой, простором, волей. Всё тонет в хаосе. Ничего не удаётся. История оборачивается кровавым абсурдом. Вот откуда эта мечта выломаться из истории. На минуту ему показалось, что душа страны, осознающая себя – где? в чём? – разумеется, в литературе, – что это его собственная душа.

Её вечное «не то» – это твоё собственное «не то».

Да, ты мог упрекать себя, что у тебя нет характера, нет воли, ты ничего не в силах добиться; все надежды, все начинания пошли прахом; ты был прав: из тебя ничего не получилось. Это оттого, что ты живёшь, чтобы стать литературой. Ты тот самый, сраный писатель. Как только я принимаюсь о чём-то рассказывать, происходит литература. И я успокаиваюсь. Испарения гнусного века для меня не опасны, я вооружён противоголозом. Я неуязвим: меня нет. И не стучитесь ко мне.

Ему становится почти весело.

Напиши-ка о том, как некто собирается рассказать о своём времени, но время ненавидит таких, как он, ибо ненавидит всякую независимость, всякую самодостаточность, хотя бы она была всего лишь упорством, с которым ты отстаиваешь своё существование. Напиши роман о сером, неинтересном человеке без имени, без профессии, без семьи, без пристанища, о том, чьё имя – *Некто*. Только так ведь, не правда ли, можно себя назвать. Только такой персонаж может стать героем нашего времени. Напиши о человеке, чья бесцветность оправдана тем,

что ему выпало стать свидетелем эпохи, враждебной всякому своеобразию, и если, наконец, он взялся за перо, он остаётся каким он себя ощущает: песчинкой в песочных часах истории. Нет, мы не призваны на пир всеблагих, мы не зрители высоких зрелищ, куда там – вихрь увлёт тебя за собой, скажи спасибо судьбе, славь злодейское государство за то, что ты уцелел.

Он хватается за вставку, школьное перо: быть может, эти заметки «по поводу» столкнут с места его работу. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. Написать о том, что роман не даётся? Не означает ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками – то ли прощаются, то ли зовут к себе?

Вот почему, между прочим, – «фрагменты». Потому что эта эпоха похожа на отбивную – кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. И роман о ней может быть только обрывками. Связное повествование – это, господа, былая роскошь, достояние других времён, когда герой романа был субъектом истории. Сейчас он только объект.

О чём и «повествует».

Но тут опять. Едва лишь нам удалось нанизать бусы, как нитка выскользывает из пальцев, жемчужные шарики рассыпаются. Кому это – *нам*? Кто говорит? Стать рассказчиком или остаться безличной точкой зрения, ничьим взглядом? *Revenons au commencement*³.

Где-то в Старой Москве обитает старая дама из «бывших». На дворе тридцатые годы, глухое безмузыкальное время. Нужно, чтобы оно зазвучало; так переключают на музыку скучный, бездарный текст. Так расчёрчивают нотный стан, но где же мелодия? Нужна тема. Что-то должно происходить. Старухе необходим собеседник, лучше всего ребёнок, он-то и представляет собой, в первом приближении, повествующую инстанцию. Мы пришли к необходимости персонального рассказчика. Двигаться дальше по проторённому пути, превратить повествователя в персонаж? Твоё «я» существует в двух лицах. Ты говоришь с самим собой, но это значит, что ты преобразуешь себя в Другого. Марсель – это Другой, не Пруст. Роман растёт и мужает в воспоминаниях, воспоминание же оказывается, как в ловушке, внутри чего-то большего – внутри романа. Это роман распоряжается и тобой, и твоим двойником. Роман – это и есть то, что некогда называлось *сверх-Я*. Роман – всеильный наркотик, «бан», чудодей.

Важно не то, что он способен удвоить существование, открыть для тебя твоё другое Я, о коем доселе ты не подозревал, – важно, что он убеждает тебя в том, что Другой существует на самом деле. Считается, что триггер отпирает запертые камеры сознания. Открывает ли он новые пласты действительности?

Слоистость твоего «я» есть не что иное, как слоистость действительности.

Ночь на 22 февраля

Здесь, как и всюду, проставлена дата. Заметьте, однако, что вмешательство хронологии насилует подлинную жизнь. Коварство так называемого исторического мышления, силки, которые расставляет нам линейная повествовательность. Было то-то, потом случилось то-то, и получилось то-то. И выходит какое-то подобие осмысленности. На самом деле мы не живём в хронологически упорядоченном времени, хоть и стыдимся в этом признаться. Долой хронологию!

Прошлое – как повороты детского калейдоскопа; вопрос в том, кто перебрасывает эти цветные стёклышки, из которых при каждом повороте складывается новый узор, кто же это великое и безрассудное Дитя, которое крутит трубку калейдоскопа.

³ Вернёмся к началу (фр.)

Но не значит ли это (спросил он себя), что мы тянемся к литературе как области, где прошлое не противостоит настоящему, где время воспоминаний неприметно переходит в сновидческое время, *le temps onirique*, столь же легитимное, как и всякое другое, и в котором, как матрёшка в матрёшке, в свою очередь содержалось другое сновидение; и не в этом ли преодолении линейного времени новое и высшее оправдание литературы? Задав себе этот головоломный вопрос, сложив руки на столе, сочинитель опустил на них тяжёлую голову.

Он спал несколько минут.

Сон, нечто всплывшее из колышущейся бездонной массы бессловесного, промытое в чистых струях сознания, чтобы превратиться в послание, в притчу, — сон застал его не на соломенном ложе, но где-то на дальней линии метрополитена, был поздний час, поезд всё ещё стоял на станции, ты вошёл в пустой освещённый вагон. Тотчас в твоём мозгу ожило другое видение: ты брёл вдоль отсыревших стен туннеля, цеплялся за кабельную проводку, ты был там, среди врагов, и вместе с ними спасал свою шкуру, тускло поблескивали рельсы, что-то выступило из мрака, лобовое стекло, мертвые чаши фар. Машинист спал перед пультом управления, уронив голову, это был поезд мертвецов. А снаружи грохотала артиллерия, рушились остатки погибающего города.

Но вот прозвучал голос, предупреждавший об отправлении, в эту минуту на перрон вбежал запоздалый пассажир, бросился к вагону, двери захлопнулись. Пассажир дёргал за ручку застрявшего портфеля, делал отчаянные знаки, видимо, просил тебя помочь раздвинуть двери, наконец, они разошлись, снова сомкнулись, и перрон вместе с пассажиром поехал назад.

Ты сидел у окна, поглядывал на своё тёмное отражение в стекле, перечёркнутое несущимися огнями, и думал о том, что сны дешифруются не наяву, а в романе, что вопрос о том, какое время реальней, онирическое или реальное, отнюдь не решён и что следовало бы сдать портфель в бюро находок. Но поезд летел не останавливаясь, это была дальняя линия с большими расстояниями между станциями. Пока, наконец, не дошло до сознания, что станция была конечной, а куда едем дальше, неизвестно. Тем лучше: будет время познакомиться с содержимым портфеля. Отщёлкнув замок, ты нашёл там толстую рукопись, принялся за чтение, а поезд по-прежнему шёл, не замедляя хода, и вагон раскачивался и громыхал на стыках.

Писатель почувствовал себя плагиатором. Он лежал на тюфяке и должен был признать, что не только присвоил чей-то труд, но присвоил чужую судьбу. Чужой образ, безымянная тень сидит за столом и глядит на него тёмными глазами, глядит с укоризной. И, уже просыпаясь, с необычайной ясностью он постиг, что тот, опоздавший, так и не успевший вскочить в вагон, был он, а в вагоне сидел другой, тот, кто собирался сдать портфель в бюро находок, но передумал, — да и поезд больше не останавливался.

Но и это был сон: и комната, и тюфяк, на котором он уснул не раздеваясь и увидел себя подбежавшим к последнему поезду; очнувшись, он вспомнил, что война всё ещё не кончилась, сообразил, что он заблудился в горящем Берлине, подобно тому как заблудился в своём романе, и странствует в лабиринте подземных путей, и заглядывает в стёкла вагонов застрявшего поезда. О, это было вечное повторение, борозда в мозгу, по которой пронеслось его воображение. Он стряхнул с себя этот морок. Стало ясно, что вся его жизнь на воле была долгим и (как это бывает, когда спят тревожно) абсурдно-логичным сном, правильным, но основанным на ложных посылах, наподобие бреда у некоторых душевнобольных. Ложной посылкой было освобождение. Он лежал, но не в хижине Швабры Анисимовны или как там звали полусумасшедшую хозяйку, а на нижних нарах, что было большим преимуществом, так как то и дело, едва успев вернуться, приходилось опять бежать в сортир. Там он сидел, уцепившись за что-то, на корточках на до-

щатом помосте с круглыми дырами, тужился, стараясь выдавить из себя весь свой кишечник, но выходил лишь плевков кровавой слизи, и так продолжалось день и ночь, двое или трое суток, он потерял счёт дням, не мог идти пешком с партией больных, его везли на подводе, это был долгий марш ходячих и лежачих от зоны до станции, в темноте влачился следом за ними усталый конвой, тебя втащили в вагон, где за решёткой тамбура сидели у железной печки два других конвоира, везли свой народ по лагерьной ветке до станции с древним раскольничьим именем Колевец, на больничку. Там он и умер от токсической дизентерии и был свезён на поля захоронения, и некий голос шепнул ему: сучий потрох, ты и на том свете будешь жить в лагере. А в барачной секции, в тумбочке между нарами осталась лежать его толстая рукопись, неужто мы успели написать её ещё там? Задача, следовательно, состоит в том, чтобы вынести её как-нибудь за зону, а там и на волю.

Кого-то надо просить. Тут он спохватился, что всё ещё едет. Пустой вагон гремит на стыках, огни туннеля несутся за тёмным стёклом, где смутно маячит его отражение, два солдата в зелёных бушлатах, в шапках поддельного меха со звёздочкой качаются в тамбуре перед погасшей печкой. Да, сказал он себе, хронология в самом деле есть мнимость.

XXXVII Всё, что не разрешено, – запрещено

22 февраля 1957

Кто-то дёргал за ручку. Это не могли быть *они*. Скорее какой-нибудь сосед... подосланный стукач. Кто-то пытался к нему проникнуть.

Хрустнула ржавыми суставами дверь. Явился некто. Она стоит на пороге. Оба уставились друг на друга. Наконец, она спросила: «Ты кто?»

Что он мог ответить?

«Я здесь живу».

«Что ты тут делаешь?»

Писатель скосил глаза на бумаги, на книжку, пожал плечами. Она приблизилась.

«Что ты читаешь?»

«Книгу, – сказал он. – Вот. Ты ведь умеешь читать?»

Подумав, она ответила:

«Это не по-русски».

Есть такая страна, объяснил он, Франция.

«Ты приехал оттуда?»

«В некотором смысле – да».

«Как тебя зовут?»

«А тебя?»

«Не скажу».

«Ну и я не скажу».

Помолчали.

«Швабра Анисимовна – твоя бабушка?»

Да, так, кажется, звали сумасшедшую старуху. Не ответив, девочка повернулась и выбежала из комнаты, писатель снова пожал плечами.

Через минуту она вернулась с огромным ломтём хлеба, намазанного повидлом. Оба стали есть, откусывая по очереди.

«Вытри руки, – сказал писатель, когда хлеб был доеден. – И на платье накапала. Нельзя быть такой неаккуратной».

Он добавил:

«Что же ты стоишь?»

Снова молчание, девочка ёрзает на табуретке, устраиваясь поудобней.

«А я тебя ждала».

«Вот как. Почему?»

«Потому что ждала». Ответ, не лишённый логики.

«Разве ты меня знала?»

«Я знала, что ты вернёшься».

«По правде сказать, – заметил писатель, – я в этом не был уверен».

«В чём?»

Он был непонятлив, ей пришлось повторить вопрос: в чём же он не был уверен?

«Что я вернусь».

«Понимаю. Ты хочешь снова туда уехать».

«Как тебе сказать...»

Ему хотелось ответить – да, уехать, но не «туда», а прочь, назад в детство. Но разве это так трудно? Дух тридцатых годов витает в комнате с топчаном и щелястым полом, и вы оба ровесники.

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi⁴.

Листаешь похухлый томик, принадлежавший Анне Яковлевне. Та самая книжка, которую разглядывал милиционер на вокзале, вместе с тобой она тянула лагерный срок. А должно быть, когда-то мерцала золотыми буквами на корешке, за стеклом, в дубовом шкафу, в сгоревшем особняке Тарнкаппе.

«А это что?» – девочка показала на бумаги.

«Это секрет».

«Почему?»

«Если об этом узнают, мне снова придётся уехать».

Твои акции повысились. У собеседницы заблестели глаза.

«Ну хорошо, – сказал писатель, – пусть это будет наш общий секрет. Клянёшься, что никому не скажешь?»

Она усердно кивает.

«Всеми страшными клятвами».

Она поклялась всеми страшными клятвами.

«Теперь пойдёшь посмотри, не подслушивает ли кто».

Девочка сползла с табуретки. На цыпочках приблизилась к двери, выглянула в сени.

«Бдительность, – изрёк писатель, подняв палец. – Бдительность прежде всего». Он перебирал исписанные листы.

Решительно ничего необыкновенного не произошло в этот бледный, анемичный день, в позднюю пору обветшавшей зимы. Но ты чувствуешь: настал исторический час. Писатель, у которого появился хотя бы один слушатель, – это уже совсем не то, что писатель без слушателей и читателей. Разоблачить себя, свой тайный порок, стукнуть себя в грудь, объявить всенародно – хотя бы народ был представлен семилетней девчушкой, – чем ты, собственно говоря, занимаешься.

Как если бы он оставил своё переодетое «я» в костюмерной, стёр с лица грим, вышел на подмости, и все увидели, кто он такой на самом деле. Как если бы не умеющего плавать посадили в утлую лодчонку без весёл; как если бы слушатель, которому ты доверился, осыпал тебя похвалами. И – побежал докладывать.

Всё, на что нет специального разрешения, запрещается. Если что-нибудь не запрещено, это не значит, что разрешено. Всё, что делается самовольно, есть преступление.

⁴ Уже много лет для меня ничего не существовало в Комбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну. (*Пруст*, «По направлению к Свану». Пер. Н. Любимова)

Впрочем, если бы это не было преступлением, не стоило бы писать. Оригинальная логика, не правда ли?

Он всё ещё перебирает листки.

«Здесь эпитафия, но мы его не будем читать...»

Он откашлялся.

Некогда в тридевятом царстве... – остановился и взглянул на девочку.

«Это такая сказка?»

«Отчасти».

Некогда в тридевятом царстве, в переулке у Красных Ворот жила Анна Яковлевна Тарнкаппе. В те времена уже никаких ворот не существовало. Не было деревьев на Садовом кольце, смутно помнится Сухарева башня, слышатся звонки трамвая на Мясницкой, маячит керосиновая лавка на углу проезда. От особняка, где родился Лермонтов, не осталось следа.

«Ну как?» – спросил он. Ответа не было, девочка сучила ногами, ёрзала на своей табуретке, упираясь ладонями в деревянные рёбра. Сейчас, подумал он, спрыгнет и убежит.

«Как тебе эта проза?»

Зато в переулке за последние сто лет, кажется, ничего не менялось. Поэтому не следует удивляться, если история, о которой однажды тебе поведала Анна Яковлевна...

«Мне?» – спросила девочка.

Он помотал головой.

«А кому?»

«Не знаю. Дальше будет видно».

Поэтому не следует удивляться случаю, который произошёл... случаю, о котором...

Поэтому не приходится удивляться...

Писатель испустил тяжёлый вздох.

«Нет, – сказал он угасшим голосом, – это невозможно».

Схватил вставочку и вперился в исписанный лист.

«Понимаешь, так писать не-воз-мо-жно!»

«А как?»

«Гм».

Не дождавшись внятного ответа, она спросила, кто это.

«Анна Яковлевна? Была такая... дальше всё становится ясно. Она живёт в коммунальной квартире. То есть её уже давно нет!»

«Кого нет?» Дети не устают задавать вопрос за вопросом. Этого требует ритуал беседы.

Писатель отшвырнул перо, взбил поредевшие волосы на голове, воззрился на девочку.

«В этом всё дело: она одновременно здесь и там».

«Где – там?»

Неужели непонятно: там, в другом времени. Ему стало легче при упоминании об Анне Яковлевне. Он даже немного развалился, если допустить, что можно развалиться, сидя на табурете.

«Вообще-то всё так и было, – сказал он. – За исключением того, что выдуманно».

Значит, спросила девочка, это сказка?

«В некотором роде, да. Но я говорю тебе, что если не считать того, что я придумал, всё остальное правда. Мне было тогда немного больше, чем тебе. И вот теперь мне кажется, что, например, этот визит, ночью, когда он приехал на извозчике, мнимый, а может, и действительный родственник, я тебе сейчас прочту, – вот это, мне кажется, как раз не фантазия».

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel), que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le reconstruons avant de mourir, ou que nous ne le reconstruons pas⁵.

«Если ты будешь слушать внимательно, – торжественно сказал писатель, – я посвящу этот роман тебе».

XXXVIII Легка на помине

Всё ещё 22 февраля

Он прислушался, что-то вновь происходило за дверью. «Подслушивают, – прошептал он, – я так и знал».

Это был скрип колёс.

«О, – воскликнул жилец, – вот это да! Вот так номер».

Кресло-каталка застряло в дверях, ворочалось так и сяк, наконец, удалось протиснуться. Доктор медицины Арон Каценеленбоген, пятясь, вкатил кресло спинкой вперёд, развернул, сморщенное личико показалось из-за подлокотников, сильно состарившаяся Анна Яковлевна, подняв ветхую аристократическую ручку, приветствовала жильца.

Что касается доктора, то он выглядел по-прежнему импозантно, однако заметно похудел.

«Всё бывает, – молвила Анна Яковлевна, отвечая на безмолвный вопрос писателя, – представь себе: всё бывает. Даже то, чего не бывает...»

Она поглаживала тощую седовласую обезьянку у себя на коленях.

«Не так-то просто было тебя разыскать, – заметил доктор. – Забраться в такую дыру – это надо уметь».

«Но я вижу, ты не забыл язык, это меня радует», – поглядывая на стол, сказала Анна Яковлевна.

«Это ваша книга...»

«Можешь оставить её у себя. Она мне не нужна. Кто эта девочка, – твоя дочь?»

Девочки след простыл. Может быть, оттого, что она родилась, когда вас давно уже не было на свете, думает писатель. Может быть, это просто несовместимость времён.

«Да, мы не виделись тысячу лет. Как ты жил эти годы? – Она озирала убогое жильё, покачивала маленькой лысеющей головой. – Кажется, ты не слишком преуспел в жизни... или я ошибаюсь? Господа, помогите мне выбраться».

Вдвоём подхватили старушку, усадили на табурет, где перед этим сидела юная слушательница. Доктор Каценеленбоген опустился в освободившуюся каталку. Подняв остатки некогда соболиных бровей, Анна Яковлевна поглядывает на стол, на исписанные и исчёрканные страницы.

На ней длинное тёмное платье, вязаная кофта, она встряхивает перед ухом спичечным коробком, как бывало, и, конечно, ни одной спички не осталось; доктор, приподнявшись, протягивает ей факел зажигалки. Запах бензина, дивный аромат дешёвых папирос. Мальчик ёрзает на диване, убедительная просьба не

⁵ Вот так же обстоит и с нашим прошлым. Пытаться воскресить его – напрасный труд, все усилия нашего сознания тщетны. Прошлое находится вне пределов его досягаемости, в какой-нибудь вещи (в том ощущении, какое мы от неё получаем), там, где мы меньше всего ожидали его обнаружить. Найдём ли мы эту вещь при жизни или так и не найдём – это чистая случайность. (Пруст, «По направлению к Свану»)

забираться с ногами! Всю зиму снег свозили с переулка во двор, снег стоит горой в венецианском окне, в комнате бело, и в углу за комодом нагая дама никак не может выбраться из бокала.

Дым тонкой струйкой вытекает из увядших уст Анны Яковлевны. Чёрный дым вылетает толчками из прямоугольной трубы крематория. Кто это изготавливает такие скверные папиросы?

«Дукат, – сказал писатель, – по-моему, фабрика существует до сих пор».

«Странно. Ведь дукат – это от слова *ducatum*. Ты куришь?»

«В лагере курил. Махру».

«*Qu'est-ce que c'est que cette махра?*»

«Махорка», – пояснил доктор Каценеленбоген.

«Ну, рассказывай, я хочу знать».

Что рассказывать? О чём? Писатель пожимает плечами.

«Когда вы вернулись?»

«Я один вернулся. Сбежал из эвакуации».

«Да, да, конечно... память, память стала никуда», – кричит Анна Яковлевна и кивает сморщенной старушечьей головой.

«А мама в конце войны».

И так как за этим должен последовать другой вопрос, он объясняет: Донской монастырь. Недалеко от...

«От меня, – сказала Анна Яковлевна, – можешь не стесняться. А твой отец?»

«Мой отец пропал без вести. Зимой сорок первого».

«Да, да, – вздыхает она. – Страшная зима. Не правда ли, доктор?»

«Вы правы, дорогая, – сказал доктор Каценеленбоген. – Зима была ужасная. Хотя лично я до неё не дожил».

«Немцы всё ещё в России?»

Доктор Каценеленбоген дипломатично кашлянул.

«Э! э! э! – вскричала Анна Яковлевна. – Софи! Не смей!.. Она не выносит папиросного дыма».

Совершив в воздухе дугу, голая и тощая, того особенного цвета, который напоминает покрытый плесенью шоколад, обезьянка плюхнулась на стол.

«Софи, назад!» – громыхнул доктор, но было поздно. Раскорячившись на столе, высоко подняв загнутый кренделем хвост, Софи выдавила из себя комок и ещё один комок.

«Ужас, – пробормотала Анна Яковлевна, – что за воспитание...»

«Софи! и тебе не стыдно?» – внушительно сказал доктор Каценеленбоген.

«Для библиотеки», – пропищала Софи, показывая чёрной лапкой на запачканную, поруганную рукопись.

«Какой ещё библиотеки?»

«В Козловском переулке, в уборной».

«Боже мой, откуда ты знаешь о Козловском переулке, тебя ещё не было на свете...»

«Ничего, я сейчас уберу», – бормотал писатель.

Он явился с железным совком для выгребания золы из печки, молча стряхивал жёлто-коричневые колбаски с рукописей.

«Поди прочь, не хочу с тобой разговаривать, – говорила Анна Яковлевна. Обезьянка снова сидела у неё на коленях. – Я тебя больше не люблю...»

Наступило неловкое молчание.

«О-о... моя спина. Не могу сидеть на этих табуретках. Доктор, отчего у меня болит спина?»

«Это позвоночник. Возрастные изменения».

«И вы ничего не предпринимаете!»

Доктор Каценеленбоген ограничился неопределённым жестом.

«Вообще, что это за манера сваливать всё на возраст. Я была не такой уж старой!»

Удивительные вещи происходят, а впрочем, так и бывает, когда после долгой разлуки ужасаешься, до чего изменился человек, а потом видишь, что он всё такой же. Доктор, конечно, сильно сдал за эти годы, но вот прошло каких-нибудь четверть часа, и перед тобой прежний доктор Каценеленбоген, медицинское светило Куйбышевского района, величественный, массивный, с перстнем на пальце, с собственной практикой, которую он сумел сохранить в почти уже построенном обществе социализма, и вывеской у входа в прекрасный старый дом на Чистых прудах.

Сопя, доктор тянет губы к мясистому носу, приподнимает седую бровь.

Анна Яковлевна:

«Прекрасно знаю, что вы хотите сказать. Что присутствие врача – само по себе терапевтическое мероприятие. Mon Dieu! сколько можно повторять одно и то же».

Экс-баронесса вновь покоится в кресле; правда, это уже не верное старое кресло из комнатки-кельи в Большом Козловском. Анна Яковлевна восседает в инвалидном кресле-каталке.

«Совсем дырявая память! – вздыхает она. – Я ведь знала, помнила, как вы с мамой вернулись из эвакуации... (Писатель не возражает). А ты, если не ошибаюсь, поступил в университет?»

«Не ошибаетесь».

«Не хочу мучать тебя бестактными вопросами, ты уж прости меня. Ты, кажется, снова уехал... надолго?»

«Уехал... на северо-восток».

Доктор Каценеленбоген заметил, что пребывание в здоровом северном климате имеет свою положительную сторону.

«Это верно», – сказал писатель.

Анна Яковлевна спрашивает, отчего он не живёт в их квартире, и снова ничего не остаётся, как в ответ пожать плечами.

«Извини мою назойливость, я не совсем понимаю. Но меня интересует. Чем ты всё-таки занимаешься? На что ты живёшь?»

«Я занимаюсь... – пробормотал он, – вы же видите». (Кивок в сторону стола).

«Je m'y attendais... я так и подумала. Удаётся что-нибудь зарабатывать?»

«Для этого надо печататься».

«Я могу похлопотать, – сказал доктор Каценеленбоген. – У меня сохранились кое-какие связи».

Писатель поблагодарил. Анна Яковлевна возразила:

«Дорогой мой, вы меня просто изумляете. Какие связи?! В вашем положении... я хочу сказать, в *нашем* положении».

Она умоляюще взглянула на писателя, украдкой постучала пальцем по лбу.

«Что касается заработка, – продолжал он, – я работаю. Или, вернее, работал. Она меня устроила».

«Эта женщина?»

«Ну да. Ваша племянница».

«Мой Бог, какая она мне племянница. Седьмая вода на киселе... Скажи мне... (понизив голос) ты с ней в близких отношениях?»

«В общем, да».

Доктор Каценеленбоген изобразил на лице понимающую мину.

«Она тебя любит? Почему ты на ней не женишься?»

«Дорогая, почему молодой человек непременно должен...»

«Доктор, молчите. Я знаю, что вы хотите сказать».

«О женитьбе не может быть речи, – сказал писатель. – Мы принадлежим к разным этажам общества».

«Но ты выражаешься прямо как в старорежимные времена! Что ты хочешь этим сказать?»

«То, что сказал».

«Но ты её любишь?»

Писатель взглянул на Анну Яковлевну ничего не выражающим взглядом, посмотрел на рукопись со следами безобразия. Вопрос застыл на сморщенном личике Анны Яковлевны. Доктор Каценеленбоген обнаружил в нагрудном кармане своего пиджака сигару и занялся раскуриванием.

«Я не могу любить, – помолчав, сказал писатель. – Это свойство во мне убито».

«Что ты говоришь! Человек не может существовать без любви».

«Очень даже может».

«Я бы хотела знать, что ты пишешь: рассказы, романы?»

«В этом роде».

«В моё время считалось, что романов без любви не бывает. Слово роман, собственно, и означало любовную связь. Как можно писать роман и не иметь представления о том, что такое любовь! – Писатель молчал. – Что же вас связывает?»

«Что связывает... – Он усмехнулся. – Вероятно, постель».

«Немаловажный фактор», – заметил, выпуская дым, доктор Каценеленбоген.

«Доктор, не пытайтесь изображать из себя циника. Вам это совершенно не к лицу!»

«А также благодарность, – продолжал писатель. – Она приняла во мне большое участие. Не оттолкнула меня. Вам, может быть, неизвестно, что значит вернуться оттуда... Люди шарахались от меня, как от привидения. А она... И кроме того... вы спрашиваете, что нас связывает...»

«О! – и Анна Яковлевна всплеснула руками, сокрушённо закивала, – я так и знала! Подтверждаются мои самые худшие предположения. Вы слышите, доктор, они вместе курят опиум!»

«Нет, – сказал писатель, – не опиум. Теперь опиум не курят».

«А что же курят?»

«Ничего. Теперь колются».

«Колются, чем? Ах, впрочем, всё равно... Доктор! Вы медик, и вы молчите?»

Доктор Каценеленбоген отложил в сторону сигару.

«Я бы хотел взглянуть, – проговорил он. – Ну-ка, засучи рукав, живо. М-да. Совершенно верно. Именно так. Часто?»

«Нет, не часто», – сказал писатель.

«Что касается Валентины, от неё всего можно ждать, – со вздохом сказала Анна Яковлевна. – До чего мы дожили. Так что же это за работа, которая даёт тебе возможность проживать в этой избе?»

«Возможность проживать мне предоставляет милиция», – ответил писатель.

«Позволю себе заметить, – вставил доктор, – что нам с трудом удалось тебя разыскать».

«Я посудомой. Мою посуду».

Он попытался объяснить, что в столице развёрнуто большое строительство. Помнит ли Анна Яковлевна, где находилась Калужская застава? Так вот, ещё дальше. Там огромная гостиница. Горы посуды с остатками яств.

«Представляю себе, что это за яства. Значит, это она тебя устроила? Вероятно, она там занимает высокую должность».

«Горничная».

«Как! – удивилась Анна Яковлевна. – Я не понимаю. Ты говоришь, вы принадлежите к разным социальным слоям. Если она всего-навсего горничная, обыкновенная *femme de chambre*... разве расстояние между вами так уж велико?»

«Простите, Анна Яковлевна, – сказал писатель. – *Je craindrais d'offenser vos oreilles*»⁶.

«Но я хочу всё знать о тебе. Валентина меня не интересует. Если я спрашиваю, то лишь потому, что ты связан с ней...»

«Мы всё хотим знать», – сказал доктор Каценеленбоген.

«В обязанности горничной входит обслуживание гостей».

«Угу. Обслуживание? – задумчиво переспросила Анна Яковлевна и опустила глаза на уснувшую обезьянку, которая была удивительно похожа на Анну Яковлевну. – Должна сказать, что в моё время в борделях подвизались более привлекательные девушки... Да, но... ты сказал, что работал».

«Я так сказал?»

Анна Яковлевна переглянулась с доктором.

«А сейчас?»

«Сейчас не работаю».

«Понимаю. Ты узнал, кто она такая, и уволился».

«Не совсем так. Дело в том, что её покровитель... одним словом, там произошла неприятная история, меня стали тягать, и я подумал, что мне лучше уйти».

Анна Яковлевна тяжело вздыхает. Я устала, говорит она. Анна Яковлевна оглядела писателя. Ни тени осуждения в её взоре, лишь горечь и сострадание.

«Как же ты опустился, бедный мой мальчик...» – пробормотала она.

Писатель лежал на топчане, эх, думал он, какая глупость. Надо было расспросить её как следует. Уточнить подробности, которые так нужны. Откуда взялась эта картина – голая девушка в бокале. Что стало с соседями, куда они делись. Что произошло с самой Анной Яковлевной. Тысяча вопросов.

Дым её папироски всё ещё стелился в воздухе. Витал аромат докторской сигары. Всё забывается. Он дал ей просто так исчезнуть.

Однако... не для того ли она явилась, чтобы напомнить?

Он встал, засунул руки в карманы холстинных штанов, взад-вперёд он расхаживает по своей *measure*⁷, уставясь в щербатый пол. Встряхнуть жестяную лампу, есть ли ещё керосин. Писатель сидит за столом, отупело перелистывает бумаги.

XXXIX Вдвоём и смуглая Венера

Назад (путаница, вызванная более серьёзными причинами, нежели забывчивость)

31 декабря 1956

У всех пациентов независимо от вида употребляемого снадобья наблюдались аффективные нарушения. В течение длительного времени у них преобладал неустойчивый, часто сниженный фон настроения. У большинства отмечались повышенная возбудимость, истероподобные формы реагирования, эмоциональная лабильность. Периодически возникало чувство враждебности и агрессивности к окружающим.

«Ну и что?» – спросила она.

⁶ Боюсь, что это не для ваших ушей (фр.)

⁷ халупе (фр.)

У 61% больных в разные периоды возникал страх перед будущим из-за отсутствия уверенности в том, что они смогут удержаться перед соблазном очередного употребления препарата, страх покончить с собой – вскрыть вены, повеситься, выпрыгнуть из окна.

«Тут первый этаж, тут не выпрыгнешь».

«Есть другие способы».

«Ты что, трусил? Небось там уже пробовал».

«Там? – Он усмехнулся. – Ты не представляешь себе, что – там».

Она напевает:

Новый год, порядки новые... Колючей проволокой лагерь оцеплён.

«Ого. Это ты откуда набралась?»

«Ниоткуда».

«У тебя есть эта пластинка?»

Она напевает знаменитое танго: «Брызги шампанского».

«Была. Кругом глядят на нас глаза суровые. Ля-ля, ля-ля, тара-тата, тара-тата. Не пробовал, так попробуй. Надо же когда-нибудь».

«Ты так думаешь?»

«Я так думаю. Я что тебе скажу – вся жизнь становится другой. Потом поймёшь, без этого жизнь не в жизнь. А насчёт здоровья – это всё больше разговоры. Мало ли что там написано. Они тебе наговорят».

«Кто это, они».

«Вот я: что я, больная, что ли. Я себе сейчас сделаю, ты посмотришь. А потом тебе. Дурачок, я же тебя люблю, если бы не любила, никогда бы не узнал. Разве по мне что-нибудь видно? Здоровью не вредит, это только так запугивают».

«Всё ясно», – сказал писатель.

«Да хотя бы и вредило – что нам терять? Всё равно до старости не доживём. Эх, милый. Да если б не штоф...»

«Штоф».

«Ну да. Он там живёт, он живой, а ты не знал? Спит в ампуле, всё равно как ребёнок в материнной утробе. Ты его впусти в кровь, он проснётся. Если бы не он, я бы давно уже лапти откинула, ручкой махнула бы всем вам».

«Кому – вам».

«Мужикам. Давно бы себя порешила».

«Откуда это у тебя».

«Оттуда. Нечего спрашивать. Откуда у всех. Чего это я разболталась. Давай... Главное соблюдать стерильность. А то занесёшь какую-нибудь заразу. Чужим шприцом ни в коем случае, и свой никому не давать. Можно просто в бедро, поглубже. Но самое лучшее вот так. Сначала прокипятить. Потом жгут. Баян обязательно сполоснуть, дистиллированной водой, я специально в аптеке покупаю».

«Баян?»

«Да что ты, первый раз, что ли, слышишь. Вот; во-о-от... Теперь подождать немного. Сейчас начнёт забирать. Сперва как будто съезжаешь куда-то».

«На тот свет».

«Скажешь ещё».

Она молчит, медленно дышит.

«Да на том свете, если уж на то пошло, лучше, чем на этом. Когда-нибудь увидим. А потом поднимаешься. Выше и выше. О-о... Ну, давай. Вместе, так вместе. А насчёт того-этого...»

«Насчёт чего».

«Ладно притворяться-то. Не понимаешь, что ли? Насчёт того, что стоять не будет. Это всё сказки».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Ну давай, не ленись. Засучи рукав. От дозы зависит. Если свою дозу знаешь, то ничего не будет, даже наоборот. Ещё как захочется. Ты меня ещё не распробовал как следует. Небеса увидишь, в раю побываешь. А если просто так хочешь расслабиться, успокоиться, то надо немного увеличить. А вообще с дозами осторожней. Можно и до галиков доколоться. До галлюцинаций. Со мной однажды было, как-нибудь расскажу. Смех один... Бери жгут. Сам, сам. Ну, у тебя веняк хороший. Протереть; вот спирт. Ваткой, говорю, протри. Теперь смотри, берёшь пилку. Ампулу надпилишь вот здесь, где узко, потом просто щёлкнуть пальцем, раз! Теперь насосать».

«Это нам известно».

«Ну и прекрасно. Медленно, не торопись. Нам спешить некуда. Там всё равно раньше одиннадцати не начнётся. Теперь, как только кровь появится, распусти жгут. Толкай поршень, пальчиком, до конца, до конца-а-а, чтоб ни капли не пропало. А теперь быстро вынуть, и ваткой. Руку согни в локте. Сперва станет тепло в животе. Чувешь? Ещё подождать... пока врубишься в кайф. Тут, милый, целая наука. Голову только не надо терять. А то, хочешь, ежа как-нибудь попробуем».

«Ежа?»

«ЛСД. Психоделик. Самая сейчас модная штука. В другом мире окажешься».

«Ты пробовала».

«Было дело».

«И что же?»

«Да так, не понравилось. И опасно, стебануться можно в два счёта».

«Нам пора».

«Куда? А, успеется».

Здравый смысл говорит нам, что все земное мало реально и что истинная реальность вещей раскрывается только в грёзах. Люди ограниченные сочтут странным и, быть может, даже дерзким, что книга об искусственных наслаждениях посвящается женщине – самому естественному источнику самых естественных наслаждений. Но нельзя отрицать, что, подобно тому как реальный мир входит в нашу духовную жизнь, способствуя образованию того неопределимого сплава, который мы называем нашей личностью, – так и женщина входит в наши грёзы, то окутывая их глубоким мраком, то озаряя ярким светом.

«Была такая. Мулатка по имени Жанна Дюваль».

«Мулатка?»

«Ну да. Белый отец и чёрная мать. Или наоборот. Чёрт её знает, откуда она явилась. С островов».

«Чёрные, они горячие».

«Глаза, как угли. Полуведьма, полубогиня. Приучила его к гашишу. Лживая, невежественная».

Она мрачнеет.

«Ты хочешь сказать, как я?»

Он разводит руками.

«Нет, ты скажи правду».

«Валя, – промолвил он укоризненно. – Приди в себя».

«Покажи книжку. Господи, а это ещё откуда?»

«Ниоткуда. Это книжка Анны Яковлевны. Бодлер... был такой поэт».

«Опять эта Анна Яковлевна. Вечная Анна Яковлевна».

Итак, вот перед вами это вещество: комочек зеленой массы в виде варенья, величиной с орех, со странным запахом. Вот источник счастья! Оно умещается в чайной ложке. Вы можете без страха проглотить его: от этого не умирают. Впоследствии слишком частое обращение к его чарам, быть может, ослабит силу вашей воли, быть может, принизит вашу личность; но кара еще так далека! Чем же вы рискуете?

«Ну как, забирает? Погляди на себя в зеркало».

«Ух ты».

«Чешется? Ничего, пройдёт. Ты лучше приляг. Я говорю, голову не надо терять. И меру знать. А то загудишь. Подвинься маленько. Ничего не будем делать, полегим просто вдвоём... Я тогда совсем девчонкой была».

«Когда?»

«Когда тебя взяли. У меня ведь никого нет. Отца вовсе не было, фамилию его ношу, а кто он был? Сделал своё дело и сбежал. Может, на фронте убили. С матерью тоже, знаешь, большой любви не было. Ну вот. Уговорил меня кто-то поступить в театральную студию, была такая при Еврейском театре».

«Ты разве еврейка?»

«Да какая там еврейка. Мне сказали, там и русских берут. Я, по правде сказать, евреев на дух не переношу. А вот так получилось. Я в школе в драмкружке была. У нас там был руководитель, артист или кто он там, он меня чуть было – ну, в общем...»

«Чуть было».

«Ну да. Он ко мне и так и сяк. Потом потерял терпение и говорит: почему ты мне не даёшь? А я только смеюсь. Женитесь, говорю, на мне, тогда и е...те сколько хотите».

Молчание.

«Мне вообще в жизни везёт. Ну, и внешность, конечно, играет роль».

«А я?» – спросил писатель.

«Что – ты?»

«Я тоже на тебе не женился».

Она усмехнулась. «Куда тебе. – Помолчал: – Милый, когда ж это было. Это я тебе про старые времена рассказываю. Ты другое дело. Я ведь тебя люблю...»

«А тех не любила?»

«Ну, это по-разному. Любила, не любила, тебе-то что».

«Ты говоришь, поступила в еврейскую студию».

«Ну да; была уверена, что не возьмут. И, представь, прошла по конкурсу. Прочитала что-то там, потом ещё этюд. Как ты, например, будешь себя вести в парикмахерской. Ну вот; а месяца через два, только начались занятия, всю эту лавочку прикрыли, кого-то там арестовали, уж не знаю, чем они там занимались. А другим просто под зад, и катись, вообще весь театр разогнали. Я, можно сказать, на улице очутилась. Домой возвращаться не могу. Какой у меня дом. Мамаша с кем-то там связалась».

«Ты что-то путаешь. Еврейский театр, на Малой Бронной, – ведь его разогнали уже после войны».

«А я что говорю?».

«Ты была в театральной студии, когда я тебя первый раз увидел. Анна Яковлевна была больна. Я хорошо помню. Ты стояла спиной к окну».

«Ну и что?»

«А то, что это было ещё до войны».

«Сам ты путаешь. Это тебя забирает, вот ты и несёшь. Анна Яковлевна... А чего Анна Яковлевна. Она ведь мне никакая не родня. Мне мама говорила: разыщи Анну Яковлевну. Будто бы бабка у них в услужении была. Моя бабка».

«У кого?»

«У них – у фон-баронов. Ну вот; что я рассказать хотела. Осталась, можно сказать, у разбитого корыта. Да ещё с пузом. То есть ещё не с пузом, но уже».

«Вот как».

«Я там в студии сдуру связалась с одним. Короче, хоть в петлю лезь. Если б не Алексей Фомич, не знаю, что бы со мной было. Он меня, можно сказать, подобрал».

«А ребёнок?»

«Не было никакого ребёнка, освободилась, и всё. Он тогда ещё не был таким большим начальником».

«Алексей Фомич?»

«Век буду ему благодарна, Бога за него молить. Господи, ты что думаешь, я с ним живу? Ну, бывает иногда, пожалеешь его по-бабьи. У него семья, на Урале где-то там. Я уж не знаю, что там у них, жену он не любит, вот и ездит в Москву то и дело. Говорит, что из-за меня приезжает. Он даже мне предложение сделал, говорит, брошу всё... Он вообще-то большая шишка, ну и связи, конечно, сам понимаешь».

«Что же ты».

«Не знаю. Не судьба, наверное».

«Но ты с ним живёшь».

«Да не живу я. Это не считается. Не люблю я его как мужчину. Ну, пожалеешь иногда».

«Это когда ты бываешь на дежурстве?»

«Всё тебе надо знать».

«Чем же он тебе не угодил?»

«Чем, чем. Чем мужик может не угодить? Не получается у нас с ним. Только-только разожгусь, а уж он спустил».

«Это оттого, что он тебя любит».

«Может, слишком любит».

«Постой, — сказал писатель, — там кто-то стоит. Дай-ка я погляжу...»

«Лежи. Не обращай внимания»

«Это он за нами приехал?»

«Я говорю, не обращай внимания. Как настроение?»

«Превосходное. Много там будет народу?»

«Не знаю. Много. Сколько сейчас времени? Хватит валяться. Я тебе новый галстук купила».

«Алексей Фомич знает?»

«Что я колюсь? Знает, а как же».

«Я не об этом. Что мы с тобой... Ещё приревнует».

«Ну и пусть ревнует. Что я хотела рассказать. Был у меня один в студии».

«Тот самый?»

«Который?.. Нет, не он... Вообще-то ко мне многие клеились. Ты как, ничего? Сейчас расскажу, и поедом. Я гордая была. Мальчик был один. Нежный такой, как куколка. Нежный и грустный. Вот мы раз сидим у него, отец был какая-то важная птица, отдельная квартира, всё такое, у него была своя комната. Сидим, он говорит: хочешь попробовать. Я думала, он меня сейчас раздевать начнёт. А может, он и в самом деле думал, что я под балдой ему отдамся. Делаю вид, что ничего не понимаю. Я тебя научу, говорит, это так приятно. Если бы не наркотик, я бы руки на себя наложил. Что ж так, говорю. А вот так. Я удивилась, с чего бы это, — такая жизнь, дом — полная чаша, мощные родители, ни в чём нет отказа. У них и дача была, и прислуга. Кругом, говорю, люди голодают. Инвалиды с протянутой рукой, ты сходи — я говорю — как-нибудь на вокзал. Или к «Метрополю», там девчонки продаются за кусок туалетного мыла. И знаешь, что он мне ответил? Я без двух вещей не могу жить. Без каких это вещей? Без этого и без тебя. Он совсем ничего не умел. Я у него первая была».

*Viens sur mon coeur, âme cruelle et sourde,
Tigre adoré, monsieur aux airs indolents;
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants
Dans l'épaisseur de ta crinière lourde;*

*Dans tes jupons remplis de ton parfume
Ensevelir ma tête endolorie,
Et respirer, comme une fleur flétrie,
Le doux relent de mon amour défunt.*

*Je veux dormir! dormir plutôt que vivre!
Dans un sommeil aussi doux que la mort,
J'étalerai mes baisers sans remord
Sur ton beau corps poli comme le cuivre.*

*Pour engloutir mes sanglots apaisés
Rien ne me vaut l'abîme de ta couche;
L'oubli puissant habite sur ta bouche,
Et le Léthé coule dans tes baisers.*

*A mon destin, désormais mon délice,
J'obéirai comme un prédestiné;
Martyr docile, innocent condamné,
Dont la ferveur attise le supplice,*

*Je sucerais, pour noyer ma rancoeur,
Le népenthès et la bonne ciguë
Aux bouts charmants de cette gorge aiguë,
Qui n'a jamais emprisonné de coeur.⁸*

⁸ Сюда, на грудь, любимая тигрица,
Чудовище в обличье красоты!
Хотят мои дрожащие персты
В твою густую гриву погрузиться.

В твоих душистых юбках, у колен,
Дай мне укрыться головой усталой
И пить дыханьем, как цветок завялый,
Любви моей умершей сладкий тлен.

Я сна хочу, хочу я сна – не жизни!
Во сне глубоком и, как смерть, благом
Я расточу на теле дорогом
Лобзания, глухие к укоризне.

Подавленные жалобы мои
Твоя постель, как бездна, заглушает,
В твоих устах забвенье обитает,
В объятиях – летейские струи.

Мою, усладой ставшую мне, участь,
Как обреченный, я принять хочу,
Страдалец кроткий, преданный бичу
И множачий усердно казни жгучесть.

И, чтобы смыть всю горечь без следа,
Вберу я яд цикуты благосклонной
С концов пьянящих груди заостренной,
Не заключавшей сердца никогда.

(Бодлер, «Цветы Зла», пер. А.Эфрон).

«Нам пора».
«Куда?» – спросил писатель.
«Как куда? На бал!»

XL Эротическая мобилизация.
Встреча Нового года в гостинице «Комсомольская юность»

31 декабря 1956, 22 часа

Один и тот же мотив тонет и возвращается в сумятице звуков, в смене лет; если бы можно было отстоять эту иллюзию музыкальной структуры, придать своей жизни вид продуманной композиции! Но ведь и в самом деле всё повторяется. Некогда столь же ослепительной, в роскошном платье предстала глазам ребёнка ветхая Анна Яковлевна, собираясь на бал в Колонном зале московского Дворянского собрания. Наркотик превратил Валентину в царицу ночи. Чёрный омут глаз вбирал в себя свет огней, гасил волю всякого, кто заглядывал в них ненароком. В ушах дрожали хрустальные подвески, траурное ожерелье спускалось до ямки ключиц, мерцали фальшивые камни на худых пальцах, с неизъяснимо женственной, томной грацией нагие руки поднялись к затылку ощупать узел волос. Под тонкой завесой дышала её грудь, под платьем угадывались нервно подрагивающие бёдра, лениво покачивалась узкая спина, слегка откинутаая назад, угадывалось всё её тело и манило к себе, в прохладную тьму. Валентина была похожа на восставшую из могилы красавицу.

Сбросить шубку на руки мопсообразного швейцара и, вперяясь в пространство чёрными опрокинутыми глазами, постукивая серебряными каблучками, через убранный еловыми гирляндами вестибюль – к зеркалам лифта. Уже отсижена торжественная часть в конференц-зале перед длинным столом президиума с лобастым гипсовым бюстом в глубине эстрады; прослушан доклад, отхлопаны здравицы. Праздник перекочевал на шестой этаж. И вот они входят.

На столах, на свисающих до полу крахмальных скатертях ждут когорты бутылок, кувшины с разноцветными соками, судки с заливными яствами, подносы с бутербродами, холмы мандаринов, сыры, хлебы и винограды; в сторонке скромно толпятся рюмки, бокалы, высятся горки тарелок; словом, нечто новое, современное, называемое модным словом «шведский стол», – каждый подходит со своей тарелкой и набирай что хочешь, сколько хочешь.

Ах, всё это подождёт. Хватануть рюмку хрустальной, как слеза, экспортной какой-то «Посольской», откусить от бутербродов с балычком, с икоркой, утереть пальчики снежной салфеткой, и – туда, в зал, где за шёлковыми гардинами, за чёрными запотевшими окнами тьма и россыпь огней великого города, в зал, сотрясаемый inferнальным весельем, бряцаньем какофонического оркестра, звериным воем и плачем истекающего липкой спермой саксофона. Кавалеры облапили дам – тело расцветает, как сад, – животы прижались к мужчинам, и всё это сосредоточенно движется, топчется, колышется вокруг огромной разряженной ёлки. Как вдруг смолкает музыка, гаснет люстра под потолком, полутьма наполняется шорохом ног, крутится бисерный шар, цветные огни летают по потолку, шныряют по волосам, по лицам, и над толпой взвиваются, раскручиваясь, ленты серпантина. Пары сливаются в поцелуях, в жадных объятьях. Но не успевают что-то произойти, как снова вспыхивает освещение. Танго: ходуном ходят пиджаки мужчин с могучими подкладными плечами и бёдра женщин, качают коромыслом сцеплённых рук слившиеся в экстазе пары. Торжествует низкопоклонство перед Западом.

Впрочем, это был стремительно устаревающий танец – вчерашний день. Нечто сверхсовременное явилось; всё тот же обольстительный, растленный Запад. Три

гитариста в лазоревых одеяниях, в чёлках до глаз, согнувшись над плоскими, похожими на крышки стульчаков инструментами, вытряхивали бряцающие звуки, пристукивали носками узких заграничных туфель, изрыгали неразличимые слова, а сзади длиннокудрый мальчик в серьгах и кольцах, сидя на возвышении перед агрегатом медных тарелок, свистулек, больших и маленьких барабанов, неустанно работал руками и ногами, отбивал ритм.

В те времена стали распространяться особого рода радения. Поначалу их приняли за некоторую особую молодёжную субкультуру, это была ошибка. На самом деле их нельзя было назвать ни культурой, ни антикультурой, скорее они могли напомнить ритуальные оргии аборигенов тропических стран или сцены священного массового помешательства эпохи клонящихся к закату Средних веков. Речь шла о приобщении индивидуума к народной душе. Речь шла о новой соборности. Речь шла о коллективной истерии. Казалось, век двух мировых войн, неслыханных разрушений, кровожадных режимов, концентрационных лагерей отменил суверенную личность. Народился массовый человек. Новое поколение чувало запах обугленных тел, который источали гигантские крематории прошлого. Массовый человек жаждал забвения. Он искал вырваться из расчерченного и распланированного мира, бежать от кошмарных видений истории в рай безволия, погрузиться в водоворот грохочущей музыки и африканских ритмов. Были построены огромные, похожие на ангары, капища, где в ночном, лиловом и серебряном сиянии, в мелькающих огнях, на эстрадах, сжигаемые внутренним огнём, одержимые священным недугом, подпрыгивали жрецы нового культа. Гривастые исполнители, похожие на павианов, в ритуальных лохмотьях, в амулетах на шерстистой груди, извивались, сгибались и разгибались, метались на помосте, терзали струны и потрясали крышками от стульчаков, полуголые певицы, увешанные побрякушками, исторгали истошное пение, с фаллосом-микрофоном у рта, как бы готовясь обхватить его жадными губами; над всем господствовал ритм. А внизу бесновалась толпа.

Вот почему не было неожиданностью, когда культовым певцом популярнейшего поп-ансамбля стал крупный гамадрил, иначе плащеносный павиан *Papio hamadryas*. Пластинки с его записями разошлись миллионным тиражом. Гамадрил был лауреатом всемирных конкурсов, он придерживался левых взглядов и свой огромный капитал завещал для благородных целей усовершенствования обезьяньих питомников и освобождения палестинского народа. В дальнейшем сольные и коллективные выступления собакоголовых приматов, с их хриплыми, завораживающими голосами, развитым чувством ритма и способностью много часов подряд, с не доступной человеку изобретательностью выполнять ритуальные телодвижения, концерты певцов-шаманов, виртуозно владеющих струнными и электронными приспособлениями, распространились широко по миру и составили серьёзную конкуренцию человеческим исполнителям. Однако это произошло позже, а у нас на календаре всё ещё пятидесятые годы.

Ночь. Выше нас только чёрное небо и огромные, на подпорках, раскалённые буквы над крышей гостиницы. Внизу, едва различимый, прочерчен цепочкой мертвенных фонарей широкий новый проспект. Ползёт, светится жёлтыми окнами последний троллейбус, бегут одинокие автомобили. Струится песок в космических часах, течёт неслышное время...

Внезапно в гром и дребезг праздника вторгается репродуктор, и толпа в панике устремляется к столам. Голос главного диктора, тот самый нестареющий голос, некогда вещавший стране о победах, повергший в трепет сообщением о болезни вождя, декламирует новогоднее обращение к советскому народу. Официанты с деревянными лицами срывают станиолевую обёртку с чёрных запотевших бутылей. Доносятся клаксоны автомобилей с Красной площади. Торжественный перезвон, мерный бой курантов. Хлопают пробки, брызги пены орошают крахмальную ска-

терть, туалеты дам и костюмы мужчин. С Новым годом! С новым счастьем! За нашего дорогого! Всеми любимого!.. Иосифа Виссарио...

Какой тебе Иосиф Виссарионович? Иосиф Виссарионыч уже, так сказать, того. На небеси, тс-кать. За нашего дорогого Никиту Сергеевича! Нет уж, давайте, де-вушки, дружно, до дна.

Визг, хохот, и снова хлопанье пробок, и вот уже, сколько-то времени погодя, через час, через два – кто знает, не остановилось ли время вместе с последним ударом башенных часов, с умолкнувшей мелодией гимна, да и не всё ли нам равно, – с атласного дивана, где некто облепленный разудалыми, раскрасневшимися, утомлённо-возбуждёнными женщинами, пьяный, как зюзя, красивый, как гусар, полулежит, высоко забросив модную туфлю, закинув коверкотовую брючину за другую брючину, третий или четвёртый секретарь какого-то там забайкальского обкома, – а в общем-то хрен знает кто, – помавает огромным бокалом – немного погодя с атласного лежака раздаётся сперва нестройное, а затем всё дружнее, а там и с других диванов, с ковров и подоконников, нежно-бабье, мужественно-молодецкое пение.

Из-за острова на стрежень! На простор речной волны!

Ражий детина, могучий, полуголый, огненноглазый, в смоляных усах, в заломленной папахе, – легендарный Стёпка Разин поднимает на голых мускулистых руках трепещущую персидскую княжну.

И за борт её бросает! В набежавшую волну!

Что-то от удалой казацкой вольницы появляется в мужчинах, а женщины все как одна – персиянки.

Тоненькие голоса:

Саша, ты помнишь наши встречи? В приморском парке на берегу!

С другого дивана, мужественно-блудливо:

Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая...

Откуда-то появился баянист – маленький, коренастый, в красной рубахе с расшитым воротом, в высоких, чуть ли не до пупа, сапогах, разворачивает дугой во всю ширь свой скрежещущий инструмент.

Маэстро, врежь! Брызги шампанского!

Сапогами – топ, топ, топ.

Новый год, порядки новые, колючей проволокой лагерь окружён. Кругом глядят на нас глаза суровые!

Мать вашу за ногу – это ещё что.

А чего – народная песня. Самая модная.

Народная народной рознь; я бы не советовал.

Ладно, чего там. А вот я вам спою. Маэстро, гоп со смыком!

Гоп со смыком, это буду я. Граждане, послушайте меня.

Эх, путь-дорожка! Фронтовая!

Ленинград, и Харьков, и Москва, ха-ха, знают всё искусство воровства, ха-ха!

Красная рубаха, чубчик прыгает над мокрым лбом.

Чёрный ворон около ворот. Часовые делают обход. Звонко в бубен бьёт цыганка, ветер воет над Таганкой. Буря над Лефортовым поёт!

Ночь. В большом зале на эстраде осиротевшие инструменты лежат на стульях, лазорево-серебряные пиджаки висят на спинках, изнурённые музыканты с лицами, как маринованные овощи, подкрепляются за кулисами, трясут папиросный пепел на пёстрые рубахи. В уборной поодиночке – «баяном» – в вену.

Хор, рыдая:

Вспомни про бладную старину. Оставляю корешам жену.

«Во дают».

«Начальство, дери их в доску».

«А ты знаешь, сколько получает первый секретарь».

«Им получать не надо, сколько хочешь, столько и бери».

«Ну, не скажи».

«А я тебе говорю».

Ревела буря, дождь шумел. Во мраке молнии блистали. И бескрайними полями. Лесами, степями. Всё глядят вослед за нами черножо-о-пых глаза!

ХLI Эротическая мобилизация. Чем кончилось

4 часа утра

«А, и ты тут... Где Валюха? Валенька! иди сюда».

И снова гаснет свет. Мерцает из зала разноцветными огоньками ёлка. Пары лежат в обнимку. Иных развезло.

«Ну как, весело? Такая, брат, жизнь пошла. Пей, веселись. После лагеря-то, а?..»

«Алексей Фомич, всё благодаря вам».

«Что-то я притомился. Пошли ко мне, отдохнём маленько. И бутылку прихвати, вон ту. Чёрную бери, мартель. Ать, два!»

«Алексей Фомич, кабы не вы...»

«Ладно, слышали. Потопали... И ты тоже. Ну как, понравилось?»

В лифте:

«Я вам, дети мои, вот что скажу: надо быть человеком. Кругом одно зверьё, вот что я вам скажу. Зазеваешься, глотку перегрызут».

«Прилягте, Алексей Фомич. Сейчас вам расстелю».

«Сперва выпить. Такая, говорю, селяви...»

«Алексей Фомич... может, хватит? Лучше отдохните. А мы тут возле вас посидим».

«Я сказал, выпить».

«Батюшки, а я и закуски не взяла. Сейчас сбегаю».

«Стоп. Обойдётся. Ну, давай... чтобы мы все были здоровы».

«За вас».

«Я что хочу сказать. Ты не смотри, что они такие. Я-то их знаю, сам сколько лет на ответственной работе... В этой среде, понятно? Зверьё, одно зверьё. А надо быть человеком. Вот так. Иди ко мне, Валюха».

«Алексей Фомич, вам бы лучше отдохнуть».

«Иди ко мне, говорю».

«Неудобно как-то...»

«Чего неудобно? Запри дверь. Дверь, говорю, запереть».

«Ну, я пошёл», – сказал писатель.

«Оставаться здесь».

«Да как же, Алексей Фомич...»

«Чего – Алексей Фомич! Твою мать... Как прописку пробивать, помощь, понимаешь, оказать, на работу устроить, так Алексей Фомич. А вот чужих баб еть! Пушай тут сидит. Пушай смотрит».

«Может, мы лучше пойдём... Алексей Фомич, это всё неправда».

«Чего неправда? Ты ему даёшь? Я всё знаю. У меня своя разведка. Ты всем даёшь. Стели постель. Я лечь хочу».

«Сейчас всё будет Алексей Фомич. Две минуты. Только подушку взбить. Вам помочь раздеться? Мы сейчас уйдём...»

«Ку-да? Ни с места. Пушай сидит и смотрит. А ты иди сюда. Ко мне! Снимай тряпки».

«Алексей Фомич, миленький...»

«Это мои тряпки. Снимай всё, сука. Я вот тебе сейчас покажу. И ему будет полезно, будет знать, как бабу ублажать надо. По-настоящему... Всё с себя снимай. Одеяло прочь».

«Да как же, Алексей...»

«Я не смотрю», – угрюмо сказал писатель.

Там что-то происходило. Там сопел и ворчал комсомольский руководитель Алексей Фомич.

«Во-от. Шире ноги, паскуда! Давай, давай, давай... О-о!»

«Ну... ну...» – лепетала женщина. Словно тяжёлый воз поднимался в гору.

«Ыхы, ыхы, ыхы! Ы!.. ы».

И всё стихло. Успокоилось тяжкое дыхание мужчины. Несколько мгновений ещё дёргалось грузное тело.

Валентина выбралась из постели.

«Слушай. Что с ним?»

«Не знаю».

«Алексей Фомич! А? Алёша. Алёшенька!»

«Он умер», – сказал писатель.

«Что?!»

«Отдал концы, вот что».

«Слушай, что делать-то?.. Беда-то какая... беги за врачом. Или нет, лучше я сама... Слушай меня: мы скажем, ему стало плохо, я отвела его в номер, он тут и помер. Я стала звать на помощь, тут ты прибежал... Скажешь, как раз шёл по коридору. Ты свидетель, понял? Ты здесь сиди, я побегу в санчасть... Или нет, ты лучше уходи, я сама. Позвоню сейчас отсюда», – бормотала она, вытирала рубашкой у себя внизу, не знала, куда её деть, в спешке одевалась, слезы и краска текли у неё по лицу.

Теперь веселье бушевало на всех этажах.

Окончание следует